



Виктор Шкловский



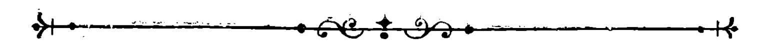
О мастерах старинных






Виктор Шкловский
О мастерах старинных
1714—1812
Советский писатель
москва
1953

Ш—66



ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой солдат Ораниенбаумского батальона Яков Батищев прибывает в Тулу. С этой главы начинается повесть, действие которой будет продолжаться сто лет





сентябре 1714 года подходили солдаты к Туле. Шли они из Санкт-Петербурга после больших побед на работы.

В то время кончили строить в Туле каменный оружейный двор. Кирпичи клали пленные шведы. Теперь надо было ставить во дворе машины.

Уже давно строилась Россия — строили города, плотины, мельницы, шлюзы, и все в империи привыкли, что если и не умеют чего делать, так научатся.

Приходилось тогда петровским солдатам и сваи бить, и шлюзы ставить, и строить заводы; в 1698 году, когда готовили флот для взятия города Азова, пилили доски и строили корабли даже солдаты гвардейских Преображенского и Семеновского полков.

Шли солдаты из Санкт-Петербурга в Тулу обочинами дорог, мимо желтеющих лесов.

Вел солдат ефрейтор Яков Батищев, человек уже немолодой.

Тулу команда увидела с пригорка: город лежал в

широкой долине, среди полосатых полей, с которых уже убрали хлеб, и осенних рыжих лесов.

На дне долины извивалась неширокая река Упа; разливаясь у плотины, Упа принимала в себя узкую темную реку Тулицу.

На том берегу Упы увидели солдаты тульский кремль. Вокруг каменного кремля — другая, старая, обветшалая деревянная крепость, окрест ее — улицы, сады, огороды. Город длинный, верст на семь, а в поперечнике — версты три с половиной.

Батищев пошел ставить солдат на постой. Делать это оказалось трудно: дома тульских оружейников от постоя были свободны.

Разместил Батищев людей и пошел отнести пакет стольнику Чулкову.

Он шел неторопливой солдатской походкой, смотря по сторонам.

Строения в городе деревянные, дома стоят вольно — не так, как в Санкт-Петербурге: здесь кто как хочет, так и строится.

Дубовый тын старой крепости местами обвалился, и из него как будто вытекли на волю огороды, уже слегка желтеющие.

Вокруг стен каменного кремля толпится и шумит народ. У большой церкви в центре города достраивают колокольню.

Народ здесь здоровый, веселый, вольный. Многие в суконных кафтанах. Женщины белятся, румянятся, ходят в кокошниках, покрытых белой кисеей.

Идет Яков Батищев. Усы у него черные, насурмленные, епанча на нем алая, надета поверх зеленого кафтана, а шляпа касторовая.

Идет Батищев — бывалый человек, русский солдат, который и с турками воевал, и шведов гонял, и видел теплое море.

Идет Батищев и печатает шаг так, чтобы видали и мужики и бабы, как ходит бравый русский ефрейтор, которого хоть в ад посылай — он и там устроит такой барабанный бой и разведет такую механику, что отступятся от солдата даже и черти.

Яков Батищев не сразу пошел к стольнику — Кле-

ментию Матвеевичу Чулкову. Пошел он сперва смотреть завод.

Оружейный завод стоит на левом берегу реки и отгорожен от разлива высокой плотиной.

Плотина срублена из бревен, ряжи засыпаны землею и сплочены друг с другом ершами.

Около плотины начато многоярусное строение — три колеса водяных да три сухих с кулаками и при них коромысла. Тут долго простоял Батищев. Так долго был он тут, что девушка в красном колпаке, из-под которого высовывались русые косы, засмотрелась на солдата.

Очнулся Батищев и спросил, отдав честь ударом руки по полям касторовой шляпы:

— Как тебя зовут, красавица?

— Если бы у тебя ко мне дело было, ты бы не на бревна смотрел, солдат.

— Дело у меня к стольнику Клементию Чулкову.

— А вот он, на кирпичах сидит, работой людей нудит. Умер старый мастер Марк Красильников, и без него люди работают не по-толковому и что к чему не знают. Бьет каждый день Чулков по десять человек батогами без ума. Пойди к нему, коли не получил своей палочной солдатской порции.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой старый солдат Яков Батищев берется сделать дело, для других немыслимое





Клементий Матвеевич Чулков человек был еще не старый.

Сидел он озабоченно на кирпичах, похлопывал рукою по пыльным голенищам сапог, смотрел на обтрепанные и известкой запачканные полы не французского, а староманерного кафтана и думал печально: «Я ли о деле не забочусь, а от царя все письма с бранью».

Тут услышал стольник мерный солдатский шаг, поднял глаза и увидел смуглое лицо и черные усы Батищева. Солдат, отдавая честь, протягивал пакет, перевязанный вощеной ниткой и запечатанный черным сургучом.

«Вот она — моя погибель!» — подумал Чулков, беря в руки пакет.

Батищев стоял твердый и бодрый, как приказание.

Чулков вытер пакет, порвал бечеву, развернул навощенную бумагу, прочел указ — раз и два — и произнес вслух:

— Так и есть: приказывают с бранью, чтобы была машина.

Ефрейтор стоял вытянувшись.

— Какие еще новости и приказы? — спросил Чулков. — Да не тянись: стой вольно.

Ефрейтор согнул колено и ответил:

— Приказов много: деньги золотые бьют новым манером, из Сената приказано подьячих брать на службу в войска — делать из них писарей да унтерофицеров.

— А повеселей вестей нет?

— Из Италии корабли в Питер для торгу пришли, привезли соленые лимоны, — сказал Батищев и сложил руки по-вольному за спиною, как будто зная, что делается в душе господина Чулкова.

— А еще что? — спросил Чулков.

— Велено по разным местам собирать шляхетских добрых семей тысячу и купецких полтысячи да тысячу работных людей для поселения на острове Котлине, в крепости Кронштадт.

Чулков встал, подошел к Батищеву и положил ему руку на плечо.

— Слушай, любезный, — сказал он, — ты человек бывалый, если я тебе что не так скажу — ты не донесешь?

— Коли что не так сделаешь, по присяге извещу, — сказал Батищев.

— Так ты садись. Вот смотри, служивый: строить мне предписано водяные колеса и к ним восемь точил для точения ножей и палашей, да восемь станков для сверления ружейных стволов, да еще сверлоки для штыковых трубок, и спрос с меня, а строить взялся сын посадского человека Марк Красильников, Сидоров сын. Строить начали: махина мудреннейшая, а сам-то Марк помер.

— То беда, стольник.

— Статочное ли это дело — с голого места брать... Неграмотного псалтырь заставляют читать... Я разве людей не бью? Бью!

— Про то слыхали.

— А машины-то кто построил? Разум-то у кого в голове найдется? Мне теперь впору в Упу прыгать. Ты, что ли, построишь, солдат?

— Построю, — сказал Батищев. — Прикажите на песке нарисовать, как построю.

— Ты стой! Да ты ополоумел! Коли ты возьмешься, ты и отвечать будешь. Только я человек добрый — я будто и не слышал, что ты говорил: побью батогами и отпущу, будто ты и не виноват.

— Я построю, — сказал Батищев.

— До чего народ размахался, — сказал Чулков, — какую беду на себя берут! Видно, мне счастье послано по родительским молитвам. Ты что, хоть мельник?

— Был и мельником...

— Ладно, доложу князю Волконскому, что нашелся такой дерзкий человек. Откуда ты такой бешеный?

Батищев улыбнулся.

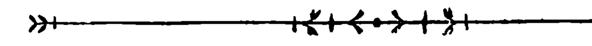
— Из Ораниенбаумского батальона.

— Да ты никак беззубый!

— Я зубы на службе съел, — ответил Батищев.

— Ну, рассказывай, откуда ты взялся. Мне о тебе князю Волконскому надо будет докладывать.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой солдат Яков Батищев рассказывает кратко, как строил он корабли, сражался с турками, греб на галерах и бил шведа под Полтавой





здешний, веневский, с реки Веневки, что впадает в реку Осетер. Место у нас лесистое, и зарублена у нас по лесу со времен царя Ивана Грозного засека, с Княжьими воротами. Правый бок нашей засеки сошелся с Тульской. Я же сам из черносошных крестьян, служил по плотничьему делу — ставил мельницы. Вырубил я заповедный дуб на мельничные колеса — делать цевья. То делать можно, но сказали про меня, что я срубил дуб на дрова, а то запретно. Судили меня и били кнутом на торгу, вместо смерти послали на царскую его величества службу. Строили мы для государя нашего у Воронежа корабли. Шел нынешнего счета тысяча шестьсот девяносто третий год. Лес на доски надо перетирать, а лес сырой и мерзлый. Умыслил я тут сделать на речке одной запруду, поднял воду, пустил ее на колесо; пристроил к колесу пилы, и начали пилы пилить у меня бревна по шести враз, а бревна на пилы тянул я грузом, а не руками. Пилили мы так бревна, а по лесам ходит царь — шапка на нем калмыцкая, подбита белой овчи-

ной, кафтан красный. Черными глазами смотрит, усами шевелит — все ему кланяются, а никто остановиться не смеет, а не то спросит царь: «Какое у тебя дело, что ты медлить можешь?»

— Царя я знаю сам хорошо, — сказал стольник Чулков. — Ты меня царем не пугай, время не тяни, говори про дело прямо.

— Говорю я дело — и по пунктам. Пилили мы лес, и как весна пришла, сплотили корабли и плыли вниз водным караваном, а на переднем судне Петр Алексеевич у руля. Хоть и молод он был, а где мель и где глубь — понимает.

— Больно изобильно у него, солдат, понимание. Это я ему, солдат, в почет говорю, — вставил Клементий Чулков.

— Подошли мы к Азову и сражались в разных боях и раз позабыли свою оборону — крепкий воинский строй — и пошли турок бить вроссыпь. И я тем случаем попал в плен.

— Без тебя Азов взяли?

— Без меня. А меня, сироту, заковали и посадили в галерное нутро у короткого нижнего весла, и дуло на меня из дыры весельной то теплом, то холодом. Кормили меня, сироту, бобами недоваренными... Прознали раз турки, что я плотническое дело разумею, сняли с меня кандалы. Начал я ходить по галере, конопатку править, доски чинить. И увидел я тут небо и волны — короткие и крутые, и увидел на быстром проливе басурманский город Стамбул, а по-нашему, по-правильному — Царьград. Отняли его турки у православных. Плыли дальше, и раз сломался у нашего корабля руль на камне в великую бурю. Спустили меня турки на веревке руль чинить. Я смотрю — галера наша качается, скрипит, руль еле держится, а меня волной так о борт и бьет. «Ну, где наша не пропадала!» — сказал я сам себе. Подрубил я, сирота, веревку, подрубил басурманский руль, и унесло меня к берегу на тех рулевых досках и било белыми волнами о черный камень, било и кровавило. Что с галерой стало, стольник, я не знаю. А меня вынесло на берег. Вижу, люди крестятся православным крестом и говорят

вроде как по-нашему, только не совсем, и зовутся болгарцами. Одели они меня по-своему, напоили, и пошел я через разные славянские земли и через Валашскую землю на нашу границу. Тут объявился я стольнику Грибоедову. Допросили меня, надели на меня снова зеленый кафтан и красную епанчу, и греб я, и на острове Котлине сваи бил, и шведов колол под Полтавой — штыком-багинетом, и видел, как те шведы бежали. А потом я видел триумф в Москве: горки деревянные были сделаны и ворота, и к одной горке шведского короля шпага прибита, а на ней надпись: «Побежден лучшим оружием».

— А ты грамотный?

— Как же, батюшка стольник, и читаю и пишу.

— Хорошо тогда было в Москве?

— Трубы трубят, на перекрестках костры... Мы идем — перед нами бредут пленные шведы. По снегу на санных полозьях корабли едут, и на них подымают мальчишки в матросской одеже паруса. Колокола друг друга перезванивают, а я думаю: «Много тебе еще, Батищев, воевать!» Ушел Карл к туркам, упустили его с Мазепой, и на море у шведов сил много, и стал город Питер в нашем государстве с самого краю, почитай, одним оружием огороженный. Значит, надо учиться оружие делать разное и строить разную снасть; не только дерево пилить, а и железо сверлить; сверлить сразу помногу, чтобы работный человек только железо подкладывал. Думал я много и придумал, а царю доложить не решился. Ходит он грозно и так широко, что полы кафтана на нем разлетаются — видно, что подбиты они темными соболями.

— К бою он привык, служивый, вот и спешит, а как ты — тоже все воюешь, солдат?

— Воюю и с боя к вам пришел в Тулу — из боя морского. Про Гангут слышали в Туле?

— Слышали, да не столь явственно: рассказывай по порядку.

— Расскажу, всемилостивейший государь мой стольник... Было то, почитай, больше месяца назад; Гангут — то каменный нос в холодном море. Финляндия вся, почитай, вся русскими войсками занята, и гене-

рал-адмирал Апраксин на галерах с тысячами войск шел. А на галерах наших солдаты гребли, и я греб со всеми, и встретили мы шведский флот у Гангута. У шведов кораблей линейных полтора десятка и галеры есть, а нам датчане помощи не дают; для них время сыплется, как мука, а для нас оно кровью каплет. Умыслили шведы окружить нас и прижать в тесноте к скалам. Мы уж думали — галеры через каменный нос перетянуть и начали уже дороги стлать жердями да бревнами, но тут услышали сильную пальбу, и пошел слух, что приближаются новые корабли.

— Приперли, значит! — сказал стольник.

— Нас не припрешь! — ответил солдат. — За тем каменным носом было затишно, и пошли мы на галерах вдоль берега, а шведский флот парусный стоял без ветра. Мы прошли сквозь шведов, как огонь сквозь дрова; только тем и спаслись, стольник, что борты у нас низкие — галера к воде жмется, а фрегаты в нас бить во всю мочь не могут, друг друга побить боятся... И шли мы, государь мой, через огонь и дым и окружили шведов своими галерами. Сказали мы врагу, чтобы он сдался, а он учинил великую канонаду. Свалились мы с линейными кораблями в абордажный бой. Было нам, стольник, тяжко, потому что у галер борт низкий, а у фрегатов высокий; от неприятельских пушек не то что ядрами и картечью, но и духом пороховым наших разрывало. Лезли мы, стольник, на борта и взяли шведский флот и адмирала ихнего взяли живьем. А царь вернулся в тот новостроенный город Питер и приказал спустить пехотинцев с галер. Пошел я, нижайший, со своей командой по делам и вот пришел в Тулу и буду строить, потому что размахались мы очень и страшного нам уже в мире нет, а если чего глаза боятся, то руки сделать сумеют.

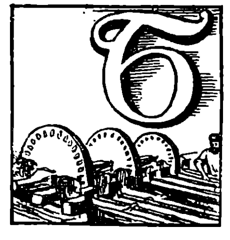
— А меня ты не боишься?

— Не гораздо, стольник. Ты сам царя боишься и меня до времени побережешь.

— Ну, ладно, строй свою снасть. Жалую я тебя за твою сказку рублем собственных денег, чтобы не было у тебя никакой нужды, пока строишь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой рассказывается о работе и о спорах



атищев жил в Туле на заводской стороне, в доме оружейника Леонтьева. Здесь он сам на себя стряпал, помогал хозяйке в работе, рубил вместе с нею капусту и пел над корытом озорные солдатские песни. Познакомился с леонтьевской дочкой, той самой девушкой, которую увидал у плотины в первый день. Звали девушку Таней. Батищев видел ее редко: бывал он или на заводе, или сидел неотрывно в горнице и делал модели своих станков.

У плотины решено было строить новый амбар.

На модели Батищева в нижнем этаже амбара от водяного колеса шли горизонтальные валы, которые вращали три сухих колеса. Те сухие колеса вращали каждое по девять сверл и сверлили девять стволов, которые подвигались к сверлам с помощью груза.

Тут же работали точила для штыков.

Во второй этаж вели три вертикальных вала. Они через цилиндро-коническую передачу, самим Батище-

вым выдуманную, вращали еще три станка. Каждый станок сверлил четыре ствола.

Цилиндро-коническая передача потом нигде не применялась и была патентована вновь в Америке лишь через двести двадцать лет.

Верхний ярус амбара отводился под кладовые.

Ниже по течению реки намечено было поставить второй амбар, двухэтажный, крытый тесом; в нем — большое нижнебойное колесо с шириной лопаток в три аршина и высотой в четыре. Вертеть колесо должна была та же вода, которая ударяла сверху на лопасти первых колес.

В нижнем этаже на модели стволы протирались изнутри после сверления напильниками, а в верхнем — стволы обелялись с наружной стороны, то есть обрабатывались широкими, автоматически работающими напильниками.

Это был прообраз нынешних заводов-автоматов.

То Туле было не совсем новое дело, но у амбара стояла охрана и любопытных туда не пускали.

По праздникам ходил Батищев с Таней по большой дороге на юг.

По этой самой дороге когда-то гнали его на Воронеж.

У засеки на красно-синих отвалах доменного шлака подымались молодые березки.

В засеке деревья были срублены так, что поваленный ствол оставался лежать комлем на высоком пне.

Шла засека через лес завалом шириной в двадцать пять саженей.

Сквозь завал пророс молодняк, и все здесь перепутали малинник и цепкая ежевика.

Рядом с завалом на высоких деревьях устроены были для сигнала огнем кузова с берестой и смолой.

Зажигали кузова, чтобы известить всю засеку и стражу у ворот, когда приближались татары; но сила крымцев была сломлена и тропы их травой заросли; засека, почитай, уже не нужна.

В кузовах жили белки.

Ссеченные дубы лежали на высоких пнях, как солдаты на отдыхе, — будто на локти облокотились.

Зеленела листвой и серела мхом старая засека.

Доходили Батищев и Таня до Ясной Поляны, что у Малиновой засеки. Там речка Ворона впадала в реку Тулицу, на берегу стояли разрушенные домны, кругом рос малинник, в малиннике заливались соловьи.

Пока строилась машина, пришла и прошла зима; расцвела новая весна.

Батищев и Таня ловили весной соловьев хитро придуманными ловушками, а летом попросту собирали малину, продираясь сквозь чащи.

Леонтьев Козьма Константинович начал коситься на Батищева.

Мастер Леонтьев дома ходил в полушубке без складок на пояснице, в опорках, надетых на черные онучи, и только на улице появлялся в синем кафтане, в скрипучих сапогах.

На Батищева мастер сердился и ему не верил.

Что-то новое вымышляет солдат, и может быть от этого мастеровому люду убыток.

Подходил Леонтьев к игрушке: вертятся колесики, зубцы колесиков крутят оси. Стоячий деревянный вал с шестерней передает движение вверх, и сразу сверлят два станка по четыре ствола, значит всего восемь. Еще в верхнем отделении работает двенадцать пил, которые обдирают стволы.

В другой игрушке от колеса идет стоячий деревянный вал, и от него приведено восемь пил, которые могут сразу обчищать восемь стволов; и от того же водяного колеса вращается через шестерню стоячий вал, и он приводит в движение станки, которые обтачивают грани казенной части ствола.

А всего не разберешь: переделывал Батищев свою модель много раз и по-разному.

Когда Батищев уходил на работу, Леонтьев пальцем крутил колесики.

Маленькие ружейные стволы надвигаются на сверла, тянут их грузы. В другом месте пилы сами опиливают стволы кругом.

Спрашивал Батищева Леонтьев:

— А ты, солдат, не даром стараешься?

— Видал я, — отвечал Батищев, — дальние горы, на которых и летом снег. Видал я дальние леса, на которых и зимой листья. Видал я теплые моря, на которых и зимою льду нет нисколько. И не видал я места лучше нашего и другого народа, что был бы нас бойчей. Работаю я, мастер, не для временной пользы, а ради славы народной, чтобы били мы шведов, проливая малую кровь, чтобы сошли мозоли с наших рук и было бы нам время самим и соловьев слушать, врагов не боясь.

— Я знаю, с кем ты их слушаешь! Но о соловьях разговор будет после.

— Я давно с тобой хочу говорить о больших делах, — сказал Батищев.

— Слушай, Яков, — сказал Леонтьев, садясь на лавку. — Стар ты несколько, можешь ты получить чистую отставку. Признайся перед господином стольником, что дело не выходит. Побьет он тебя, конечно, но не до смерти, потому что деньги я за тебя, что на работу издержаны, отдам, хоть и не все. А снасть твою мы с тобой потом построим где-нибудь на речке подальше, в малом виде. Пускай сверлит она ну два, ну три ствола. Забогатеем, и я за тебя дочку отдам, ничего, что ты и не оружейник и собою староват.

— Нельзя, мастер. Ты человек немолодой, но не слыхал ружейного стука, не видал, как ходят наши в зеленых кафтанах в атаку, не видал, как проходит по полям победа. Я на тебя, мастер, работать не буду. Я человек служивый, служу государственному делу.

— Слушай, солдат! Я с тобой хотел добром говорить, а не хочешь, я на тебя донесу, что ты сидел в горнице запершись и, в противность царскому указу, запершись писал, а за это кнут.

— А доноси! Я тебе покажу, что̀ писал, — ты ведь тоже грамотный.

Мастер нагнулся к столу и прочел на синеватой бумаге донесение, написанное крупными хвостатыми буквами. Начиналось оно так: «В прошлом 1714 году

по твоему государеву указу велено было мне на Туле, на реке Упе, построить водяные оружейные заводы для обтирания и сверления стволов к прибыли казне, и ныне те оружейные водяные заводы сделал я и поставил на ход, и ныне на тех заводах вода стволы сверлит, и прибыли от того государевой казне 3 алтына да две деньги от ствола».

— Эх ты, пропащая душа! — сказал Леонтьев. — Какими ты деньгами бросаешься, бездонные твои карманы, просяная твоя душа!

— А может, вспомнят обо мне когда русские люди...

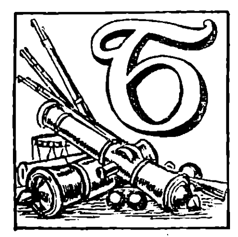
— Не вспомнят, солдат, хотя крику ты наделал много, а вот ругать тебя будут пожиточные люди.

— Ну, пускай ругают.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

содержащая рассказы о колоколах и о пушках и описания пробы ружейных стволов





ыло воскресенье; погода на дворе стояла хорошая.

Батищев постучался ранним утром к своему хозяину.

— Мастер, — сказал солдат, — а сегодня я буду те стволы пробовать — тебя зову.

— Может, разорвутся!.. — засомневался мастер. — Ты подумай, порох — зелье строгое, а на пробе стволы двойным зарядом заряжаются.

Леонтьев быстро скинул тулуп, опорки, натянул козловые сапоги, надел синий кафтан и подпоясался праздничным кожаным поясом с серебряным убором.

Пошли. В синее небо подымались из труб зимние голубые дымы; красное солнце золотило купола церквей.

— Экая тишь и скука!— сказал Леонтьев.— А прежде сколько в праздник было над Тулой колокольного благовеста!..

— Прибраны колокола к делу, — возразил солдат.

— Пропали они за хвастовство и водку, и хвалить этого нельзя. И было то так: побили нас шведы под Нарвой, и потеряли мы пушек до множества...

— Больше чем три полста, — вздохнул солдат.

— Конечно, обидно было... Нонешний царь тогда в Новгороде проживал, смотрел, как город окапывают: шведов ждали.

— Тогда, говорят, и кремлевские стены в Москве чинили.

— Не перебивай: я старший и, стало быть, больше знаю. Сидит царь под окошком и видит, что перед домом ходит незнакомый человек: по рваному платью судя, посадский, но очень прилежно и без страху ходит перед царскими очами. Послал царь спросить боярина, чего тот человек хочет, а посадский отвечает: хочу-де помочь государеву горю. Ведут человека к царю, спрашивает царь посадского: «Какие у тебя ко мне дела? Только говори короче». — «Всемилостивейший государь, — говорит тот посадский человек, ну так говорит, как я тебе, — хочу помочь твоей беде. Знаю, потерял ты пушечный наряд и гадаешь, где достать медь на литье новых пушек». — «То правда, — сказал царь, — но разговор твой без пользы». — «Всемилостивейший государь, пропился я и задолжал, заложился, вели поднести чарку вина, умираю с похмелья, а денег нет ни полушки». — «По дерзости судя, он с делом пришел, — сказал царь, — дать ему чарку». Выпил посадский. «Ну, говори», — приказал царь. А тот дерзкий человек отвечает: «Вели дать еще чарку для смелости, потому что скажу я чрезвычайное дело». — «Томишь! — осердился царь. — Плесните ему еще чарку!» Выпил посадский и говорит: «Теперь стало все яснее и легче. Так слушай: меди у тебя, царь, много. На колокольнях колоколов за сотни лет понакопилось; коли швед придет, он те колокола снимет да увезет — так он в лихое время уже здесь делал. Снимем-ка, царь, колокола сами, отольем пушки, врага одолеем: бог сильных любит, а когда возьмем у шведа пушки, богу колокола вернем». Вот так и сделали.

— В том дурного не вижу! — сказал солдат.

— А разве отдали? Сколько шведов ни бьем, а нет колоколам возвращенья.

— Вернем еще.

— Ой ли? Уже отлито из меди, да, конечно, не из колоколов только, пушек больше тыщи. Медь на казну всюду добывают, там ее роют, где о ней и слуху не было, и работаем мы — и день и ночь. Лоб нам некогда перекрестить, работаем всю неделю, сдаем работу в дни воскресные, а звона нет.

— Будет, мастер, — ответил Батищев. — Отольем еще знаменитые колокола: у себя будем звонить, а в чужих даже землях звон тот будут слышать.

Так разговаривая, мастер и солдат шли по длинной улице.

Отделанные стволы пробовали за городом, в снежном огороженном поле. К каменной стенке присыпан был песок, против стенки на брусьях с углублениями лежали стволы рядами. Стволы заряжались добрым порохом и двумя пулями.

Батищев снял шляпу, поправил усы, вздохнул и аккуратно насыпал дорожку мимо всех затравок; черная блестящая пороховая дорожка легла, чуть змеясь: видно, солдатская рука дрожала.

Батищев надел шляпу, вырубил из кремня искру, раздул трут, сам себе скомандовал «огонь», зажег порох и быстро отбежал.

Огонь, бледный при свете солнца, побежал мимо белых стволов, слабо блестя, как будто огрызаясь и подмигивая. Не сразу грохнули ружья. Но трескотня взрывов скоро слилась в грозу: пули, визжа, зарывались в песок.

Отгремели выстрелы. Леонтьев подошел к стволам, посмотрел — не разорвало ли где-нибудь их, не раздуло ли.

— Сделано без плутовства, — сказал он. — Можно твои стволы орлом метить.

— Значит, хорошо, хозяин? — спросил Батищев.

— Как для кого! — ответил Леонтьев. — Мы без тебя жили, богатели работой своей. А ты что получишь? Ты офицером станешь или начнут тебя почитать, как немецкого мастера?

— Офицером не стану, а немцев у нас и в самом деле слишком уважать привыкли.

— А ты вот людей беспокоишь!

— Не все же ты сам работал, Леонтьев.

— Как это не я?

— Да не ты один: работаешь ты с захребетниками.

— Ну что ж, и они при мне ножишки делают, а я их в харчах не утесняю. Я хлеб ем — им хлеб даю, мне квас — им квас, и мясо из щей с ними вместе таскаю. А теперь пойдут они и заплачут.

— А у тебя не плакали?

— А зачем им плакать? Шли оружейники посадских бить, так шли мы с подмастерьями вместе.

— А дочку за подмастерья отдашь?

— Какой подмастерье, какого роду! Лучше не врать: не отдам.

— А вот теперь вровень с ними работать будешь.

— Я вровень?.. Так я каждую вещь, что из железа сделать можно, — сделаю. Я на твою снасть и смотреть не хочу.

— А она тебя перегонит.

— Вот меня уж посадские железному делу учат.

— Так при моей же снасти оружейники будут работать.

— Не мила будет та работа. Работали в Туле Леонтьевы, Сурнины, Дмитриевы, Борзые, Антуфьевы. Все дело было при нас, а ты нам дело раздробляешь.

— Водой работать будем. Будет войско грозное, большое, все с ружьями.

— Воды на всех не хватит.

— Ветром будем вертеть.

— Про ветер — это уже пустое. А жили мы без тебя не плохо и ружья делали лучше, чем немцы. Вот Демидов из деревни Павшино, когда здесь царь с Шафировым чернявым проезжал, тому Шафирову пистолет чинил. Принес. Шафиров посмотрел и стал царя будить: «Смотрите, ваше императорское величество, какая высокая починка». А царь ему говорит: «А мне не

починка надобна, а нужны мне ружья, да пистолеты, да фузеи, чтоб не хуже были иноземных». Все же встал, идет нечесаный, смотрит, говорит: «Починка хороша, а вещь лучше. И как исхитрились в работе иностранные люди!»

А Никита говорит ему — смело, как я тебе: «Мы можем сделать не хуже».

А царь его сейчас же — по щеке и упрекнул: «Ты сперва сделай, а потом хвастай».

Никита, к кулачному бою привычный, не пошатнулся и говорит ему тихонечко: «А ты сперва посмотри, а потом дерись. Я твой пистоль подменил, хочу его еще опробовать — какая сталь. Твой пистоль у меня лежит, а этот весь моей выработки».

Тут царь ахнул на великое мастерство, и пошел тут у них разговор, и начал Демидов делать фузеи по рублю восемьдесят копеек, а до того покупали их за границей по двенадцати рублей.

Ушел от нас Демидов вот уже более десяти лет тому назад, потому что нет здесь для столь большого дела угодья. Ушел он на Невьянский завод, что на Урале. Кует он ружья, пушки льет, делает всякое литье и кованое железо, и тянет проволоку, и строит он там пушечные вертельни. Вот ты бы к нему... Он бы тебя определил к делу, а мы бы остались работать по мелкости, если ты меня человеком сделать не хочешь. Мы тебе любя говорим: уезжай ты от наших мест подальше. Снасть мы твою не сломаем. Уж больно умна и казне выгодна.

— А я хотел у тебя дочку засватать.

— Дочку?.. Ты ее и имя забудь. У нас девушки поют:

Я оружейную родню
До пристрастия люблю.
За себя замуж возьму,
Поцелую, обойму[1].

— Моя махина[2] всякую старую песню перепоет, — сказал Батищев, — такой и у Демидова нет.

---

[1] Песня того времени; дана буквально.
[2] Машина.

— Демидов — человек большой, но в стройке снастей он не горазд; вот домницы — это другое дело. Только не ты один, солдат, наше дело переделать и переломать хочешь. Махину строить начал тульский наш казенный кузнец Марко Васильев, он же Красильников.

— Мне стольник это говорил.

— Говорил, да не все: тот Марко Васильев не из коренных мастеров. Сын он посадского человека Васильева Сидора, — тот ножишки делал, значит был самый пустой человек.

— Ты, мастер, не бахвалься: прозвали того Васильева Красильниковым потому — стволы он делал из красного железа, по-иному сказать — дамаска, а это высокая работа.

— Я Красильниковых не порочу, но все же они не нашего корня. Вот Леонтьевы, те и впрямь тебе любой дамаск сделают, какого хочешь рисунка — вот они наши! Демидов тоже наш и богатей! Только Демидов на себя работает, а ты какой секрет из рук выпускаешь!.. Пропащий ты человек!

— Не ругайся, хозяин, я хочу у тебя дочку сватать, меня сержантом делают, жалованье мне будет два рубля в месяц и провианту против солдату вдвое.

— Слушай, Яша, хлеб мы с тобой вместе ели, и скажу я тебе подобру: уезжай ты, Яков, а Таня у меня уже за Сурнина просватана, настоящего мастера.

— А она мне слово дала.

— Ну, ее слово девичье: соломинкой сгорит — не опалит... Уезжай. Мне тебя жалко, потому что все-таки солдат, вот у тебя и зубы не все, значит их беречь надо. Уезжай ты, милый человек, и сюда не пиши. А я тебя, Яшка, ведь полюбил, ты бы у нас первым человеком был. А ты прохвастал: сделал какую глупость, сразу в казну и объявил. Ты, Яшка, за рупь гору продал...

— Не за рупь — за пользу, за славу.

— Ну, прощай, пустодом.

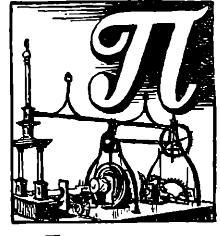
— Нехорошие слова говоришь, хозяин! Неужели у тебя к новому мастерству любопытства даже нет и дальше своего куска ты ничего не видишь? Жизнь мою ты ломаешь и затею мою сердечную — новую снасть, небось, тоже поломать хочешь. Ведь уезжаю я, зовут меня в Питер на новую службу.

— Снасть твою мы не сломаем: уж больно хитра. Да и то: сломаешь — беды не оберешься. Пускай стоит себе в сторонке, для редкости. Ну, прощай, соловей. Прощай, солдат, а дедом твоих ребят мне не быть!



ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой рассказывается о том, как сержант понтонной роты Яков Батищев давал царскому токарю Андрею Нартову совет, и о том, как этот совет не был принят



алаты оружейного двора в Туле начали строить и закончили в 1718 году.

Последовал указ о переводе туда всех оружейников. Мастеров с учениками оказалось более тысячи человек, и помещения для них не хватило.

Так получилось потому, что Батищев предлагал строить помещения двухъярусные, а построены они были, по совету Леонтьева, в один ярус.

Решено было после разных проволочек оружейникам работать попрежнему на дому; того и добивались пожиточные люди, которые работали с подмастерьями.

Станки Батищева использованы были для доделки приносимых стволов.

Сохранились известия о том, что Батищев и дальше ссорился с Леонтьевым и с другими тульскими кузнецами, имена которых мы здесь не приводим, но все же женился Батищев в Туле на Леонтьевой, и посейчас в Туле много живет Батищевых, их потомков.

Там, где круто поворачивает холодная река Нева, впадает в нее речка Охта. Когда-то тут стояла шведская крепость. Потом построили здесь слободу плотников, перевезенных в Петербург, и рядом с нею пороховой завод.

Война не кончилась, ходили русские войска отбивать врагов от границ. На пороховом заводе дела не шибко ладились, вот почему вызвали сюда Батищева.

Был при заводе комиссаром иноземный человек Рыц, но он от старости во всяких заводских делах уже толк понимать перестал, а велено было ему еще переделать старый амбар для толчения пороха. Чертежи из Тулы прислал модельный мастер сержант Батищев.

Иноземец в тех чертежах не разобрался. Так как дело было спешное, решили назначить какого-нибудь офицера к тому делу, но офицера понимающего не нашлось. Назначили заведовать заводом сержанта Батищева.

Пороху нужно было еще очень много.

Сержант Батищев запрудил речку Охту; и здесь, около запруды, построил казенный пороховой завод. Воды хватало, и та же мельница пилила лес на доски.

Днем и ночью на пороховом заводе работает мастер сержант Батищев. Бросил он чернить усы, и враз они поседели.

Работы и страху много. Надо, чтобы по заводу пороховому никто не ходил с открытым огнем, надо и за водой смотреть, чтобы воды хватало и чтобы порох выходил добрый — один для пушек, другой для мелкого ружья, третий для разного фейерверку. Здесь же хотел построить Батищев еще молотовую кузницу, отнеся ее от пороху подальше.

Надо еще селитру и серу проверять и жечь добрый для пороха уголь.

Город весь пах свежим деревом. К Охте летом, к порослям на вырубленный лес, выходили из тайги пастись лоси.

Батищев строил лафеты, ходил советоваться с

Нартовым — Андреем Константиновичем, царским токарем.

Получил Нартов образование в Москве, в школе математических и навигационных наук, что помещалась в Сухаревой башне, а в Петербурге работал с 1712 года с русским мастером Юрием Курносовым.

Сейчас Андрей Константинович Нартов вернулся из Лондона. В Лондоне он должен был наблюдать за построением машин по своим чертежам, но прислал он из Лондона письмо, что «таких мастеров, которые превзошли российских мастеров, не нашел, хотя и чертежи к машинам мастерам показал, но они сделать по ним машин не могут».

Побыл Нартов и в Париже. Президент Парижской академии наук написал о Нартове царю письмо с великими похвалами, но мастеров для постройки станков прислать не смог.

На похвалах дело и кончилось. Вернулся Нартов, оставив один станок в Париже, а русские чертежи привез с собою без исполнения.

Начал строить машины Нартов в Питере сам.

Батищева знал Нартов по пороховым и артиллерийским делам. Теперь Нартов заведовал токарной мастерской царя и для той мастерской строил все новые и новые станки.

Сюда Батищев заходил часто рассказывать о своих делах.

Нартов Батищеву покровительствовал, но много уделить времени солдату не мог.

Тревожен был Батищев.

Белая ночь лежала над домами и рощами Петербурга. Слабо зеленели деревья. Нева блестела, серо-голубая. Был май 1719 года.

В летнем доме царя Петра, на реке Фонтанке, зажгли огонь. При свечах работал Андрей Константинович Нартов. Человек он был еще не старый; ему еще и сорока лет не исполнилось. Одет он в черный кафтан из русского сукна, в башмаки из грубой кожи, но с серебряными пряжками. На голове носил парик с короткими волосами, щеки тщательно брил, усы под-

стригал, как у царя, и походил он на отдохнувшего петровского солдата.

Комната вся заставлена токарными станками. Всего разных станков было десять, из них шесть — русской работы. Нартов стоял у самого большого станка, с дубовой резной станиной. Вытачивалась на станке крохотная модель орудия.

В то время во всем мире, работая на токарном станке, мастер держал резец в руке, подводя его к обрабатываемому предмету. Для того чтобы рука у токаря не дрожала, на станине токарного станка устраивали подручник.

Не так был устроен нартовский станок. У него резец был закреплен в суппорте и мог подаваться автоматически.

Закрепленный резец был еще на одном станке — во Франции, у герцога Орлеанского, который считал себя токарем-любителем. Заведен был тот станок после нартовского пребывания в Париже. Но у Нартова на станке суппорт, кроме того, передвигался во время обработки. Этого в мире нигде не было. Нартов станок свой переделывал неоднократно.

Дрожал пол в токарной, чуть звенели стекла в дубовых рамах. Сам токарь был беспокоен, хотя работа шла хорошо.

— Уйди, говорю, тульская твоя душа! — ворчал он, обращаясь к Батищеву.

Батищев стоял в углу. На нем кафтан из солдатского сукна, чисто вытертые штиблеты. Виски у Батищева уже давно поседели, но глаза смотрели попрежнему упрямо.

— Не уйду! — ответил Батищев.

— Хоть бы ты жены слушался! Пускаю я тебя к себе, как настоящего человека, зная твое прилежание, станок тебе показываю... Ну и уйди. Что, на иноземцев хочешь опять жаловаться?

Батищев смотрел на станок.

— Желаю доложить государю самонужнейшее дело, — ответил он: — о том, что на твоих станках точить можно не украшения разные, а части машинные — блоки и ружейные стволы.

— Я же станок измыслил, я и знаю, что на нем точить, и не твоего разума это дело! — ответил Нартов. — На мою придумку в Париже удивлялись. Но инструмент это царский, чтобы царь мог, пока точит, хоть с вице-канцлером Шафировым разговаривать: ему некогда резец держать.

— Придумано ладно, Андрей Константинович, но можно этими станками работать всюду. Я вот измыслил станки в Туле, и работают они ежедневно. Ты бы царю доложил. Вот царь велел пушки и ядра делать по строгим размерам, чтобы не надо было во время боя заряд подбирать к орудиям. Пора, Андрей Константинович, на твоих станках всякую работу работать.

— В мире этого нет, Батищев. Рабочий человек сам резец держать умеет. Мои станки — для царской работы... А может, и в самом деле доложить?.. Занятное получится дело!

— Андрей Константинович, я на колени стану! Доложи царю! Царь ведь сам говорит, что мир могут дать только мячи чугунные. Пушек, значит, царю надо много.

— Мир близок, Батищев.

— Все равно ружья нужны да железо разное корабельное.

— Отстань! Не твое это мужичье дело! Столько вещей в мире и не надобно, сколько их на моем станке сделать можно.

— А я бы к твоим станкам, — ответил Батищев, — водяной привод сделал у себя на Охте, пушки начал бы сверлить из целых болванок.

— Разве доложить государю?..

Нартов посмотрел в окно. Догорали облака в небе.

По набережной шел высокий человек. Надеты на нем были калмыцкая шапка белой овчиной наружу и красный кафтан.

Человек шел размашисто, ступая большими ногами в меховых сапогах на сырые щепки. Полы кафтана отбрасывались при каждом шаге, и видно было, что они подбиты соболем.

Человек был высок, имел круглое смугловатое

лицо с черными глазами, маленький нос и жесткие оттопыренные усы над небольшим, тесно сжатым ртом.

Человек шел мимо новых домов, обшитых досками и раскрашенных под кирпич.

Он шел, и все ему кланялись, но останавливаться никто не решался, потому что то был царь Петр и если он замечал, что кто-нибудь останавливается, то сейчас же начинал расспрашивать, что за дело такое у идущего, что он может в дороге медлить.

Так по набережной шел Петр, и все вокруг него торопились.

— Пошел вон! — закричал Нартов. — Вон сейчас же! Царь идет! Мальчишка, готовь царю колпак рабочий. Да нет, я сам, крути колесо!

Нартов сам достал матерчатый колпак и посмотрел на Батищева умоляюще:

— Уходи, я доложу, может быть...

Петр подошел к домику. Шелестели на дубах пожелтевшие, не спадающие до весны листья.

Перед дверью, сняв шапку, стоял человек в тулупе.

Петр посмотрел на него сверху вниз.

— Батищев? — спросил он.

— Батищев, ваше величество, — ответил Яков. — Хочу доложить.

— Некогда. Не задерживай. Ты какой Батищев? С порохового?

— С порохового — мастер.

— Так что же ты стоишь? Будет у меня триумф с фейерверком. Иди, порох нужен.

Царь вошел, почти достигая головою притолоки невысокой двери. Слышно было, как заскрипела лестница внутри дома.

«Может, доложит Андрей Константинович?..» — подумал Батищев.

В мастерскую Петр вошел так стремительно, что пламя свечей заколебалось. Он сбросил с себя красный кафтан, шапку, кинул парик в угол, напялил колпак и сел за станок.

Мальчик закрутил колесо: стальной резец, зажатый

в суппорт, двигаясь по воле механизма, снял длинную медную стружку.

Царь думал. Английский флот вошел в Балтийское море, стоит перед Ревелем, угрожает своими пушками, требует, чтобы интересы Англии были учтены при заключении договора со шведами.

Шла дипломатическая борьба между Россией и Англией. Англия поддерживала разбитую Швецию, для того чтобы не дать России укрепиться на Балтийском море. Английский флот крейсировал в Балтийском море под начальством адмирала Норриса.

Норрис отправил в Ревель письмо: «Король английский, государь мой, велел мне итти с эскадрой в это море для получения справедливого и умеренного мира между Россией и Швецией».

Чуть ли не четверть века шла война. Россия за это время переделывалась, кровью истекая, а англичане хотели богатеть чужой бедой.

Петр вытачивал модель пушки и думал.

— Позови Шафирова! — сказал он.

Царь точил и думал, как ответить резко и прямо, чтобы видно было, что сила и правда на его стороне.

Нартов двигался, как тень.

«Доложить или нет?—думал он.—Может, время?..»

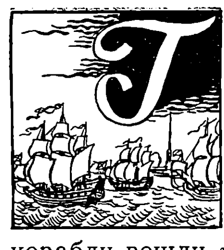
Но тут тихо открылась дверь и в комнату вошел, кланяясь и сверкая серебром глазетового кафтана, черноглазый, толстобедрый барон Шафиров.

— Ваше императорское величество, — сказал он тихим, сладостным и восторженным голосом, — они не решатся.

— Еще бы, — сказал Петр и, обратившись к Нартову, приказал: — Стань у двери! Они победить, не воюя, хотят. Только у нас сердце бывалое, мы не сробеем. Стань у двери, никого не пускай. Пиши, Шафиров. Мы им такое слово выточим, что они его вовек не забудут.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой рассказывается о том, как плыл через море сержант понтонной роты Яков Батищев



Тод тому назад погиб воинственный, неутомимый шведский король Карл XII. Погиб он в 1718 году при осаде Фредериксгальда. Северная война угасала. Англичане поддерживали ее так, как поддерживают огонь костра, сдвигая и прижимая друг к другу головешки. Английские корабли вошли в Балтийское море с боевыми вымпелами на мачтах.

Шведы согласны были «уступить» Петербург и Нарву, нами давно занятую, но спорили о Риге и Ревеле — богатых городах.

Англичане поддерживали шведов, крейсировали в море.

Тянулись голубые дни и белые ночи 1719 года.

Навстречу английской эскадре к Зунду вышли русские корабли, окликнули англичан через переговорную трубу. Флотский поручик Головин спросил, какие намерения у гостей в не ихнем Балтийском море. Англичане ответили, что они пришли наблюдать и предлагают посредничество между Россией и Швецией, а пока

протестуют против того, что русские корабли осматривают чужеземные суда в море и не позволяют провозить в Швецию порох, свинец и пеньку.

В те дни получил сержант Батищев приказание явиться в Галерную гавань и наблюдать за погрузкой коней и артиллерии на легкие суда. Надел он свой мундир команды порохового завода: синий с белым воротником и отворотами.

Заплакала Татьяна, утешал ее старый солдат, велел за детьми смотреть да жить тихо — ничего, что сам хозяин ушел.

Плакала Таня, говорила:

— Какое тут житье, когда ты в море уплывешь, в море холодное, в море дальнее...

— А ты, Таня, не причитай, и море не дальнее — оно в нашей околице. И чего ты, Танечка, боишься? Я-то за тебя больше бояться буду: ты ведь на пороховом заводе живешь... Смотри, Таня, чтобы когда в пороховой амбар ходят, фонарь бы брали, а не лезли бы дуром с лучиной.

— Посмотрю, соколик.

— И детей на Неву купаться не пускай: Нева студеная.

— Не пущу, батюшка, хватит с них заводского пруда.

— Ну, посидим на прощанье, Танюша. Смотри у меня за детьми и нашим пороховым заводом...

— Посмотрю, Яшенька!

В нешироких заводях Галерной гавани стояли мелкие суда: среди них галеры казались великанами.

Большинство галер не крашено, дерево еще не потемнело, краснели бледно окрашенные носы галер.

По помостам, боязливо перебирая ногами, шли на галеры казачьи кони, еще не сбросившие с себя зимней мохнатой шерсти; пехота вкатывала пушки, носила ядра.

Весенняя ночь была светла.

Рядом с галерой стояли понтоны, лайбы и беспалубные лодки.

Батищев вошел на пахнущую смолою палубу галеры.

Была великая тишь; галерные паруса висели, плоская волна входила в заводи гавани и качала отра-

жение галер. Тогда, пугаясь, робко ржали и стучали ногами лошади в трюмах.

Заскрипели в уключинах весла, двинулись галеры. Уходил Петербург со шпилями, прямыми дымами, показался Котлин с одинокими деревьями на плоских берегах: здесь фрегаты пошли на буксире лодок. Пошли еще тише.

Заря розовела, начал дуть ветер. Оживали фрегаты, развертывались на них розовые от восхода паруса.

Быстрее пошли галеры. На них тоже подняли на помощь гребцам паруса.

Уже полсуток стонали весла. Прохладный ветер дул в весельные дыры. Отблески волн сверкали, дымчато отражались на стенах трюма.

— Нажмите, братцы! — говорил Батищев. — Не на турку работаем. Или вас не щами кормят?

Солдаты, в зеленых кафтанах, в алых, надетых по случаю морской сырости, плащах-епанчах, закинутых на плечи, садились на смену галерникам.

Под веслами рвалось в куски море.

Двадцать лет воевала страна.

Гребли солдаты, гребли колодники, ослушники, стрельцы-бунтари, раскольники, ябедники, нетчики, провинившиеся купцы, самовольные лесорубы, монахи и иной народ, покорный и непокорный — не устающий народ.

Скоро сутки, как шли через море на парусах и веслах. Шли за миром. Шли на Швецию, зная, что могучий английский флот может напасть на суда.

Вот уже засинел берег Швеции.

— Нажмите, братцы! — говорил Батищев. — Пора кончать. Завоевались шведы. У меня, может, дома щи стынут. Дайте-ка я сам сяду за весло.

Снял Батищев синий мундир и нажал на валек руками и широкой грудью.

Не только волей Петра шли: нажимали на весла солдаты, ослушники, нетчики.

Гребла бродячая и оседлая, домовитая и любящая гулять, неутомимая Россия.

Бледные волны Балтийского моря пересеклись си-

ними следами галер, и стало оно похожим на множество волнующихся по ветру андреевских флагов.

Восемнадцатого июля караульные шведские суда увидели русских у своего берега, и в тот же момент в легком сумраке северной летней ночи закраснели по всему берегу свитые с дымом сигнальные огни.

В узких фиордах было совсем тихо: приставали русские к пристаням, срубленным из доброго соснового леса, хватались руками за мокрые сваи, бережно подводили галеры.

— Здравствуйте, шведы! — сказал Батищев. — А лес у вас вроде как у нас: смолой пахнет!

На берегу, в тумане, стоял звонкий, высокий сосновый лес.

Налаживали помосты, выкатывали на руках артиллерию, выводили коней, кони фыркали, нюхали землю, радостно ржали.

В лесу кто-то стрелял.

Вдруг огонь побежал неширокой волной по хвое, покрывающей землю; огонь охватывал деревья, взбегал вверх по красно-лиловой коре, на ветках обращался в белку с красным огненным хвостом и начинал прыгать с сосны на сосну. За лесом стояли дома, сложенные из валунов, добрые каменные хлева, мрачные кирхи и лежали мощеные дороги.

Конница прошла через тихие деревни.

Вот они, шведские шахты, шведские заводы, вот их водяные колеса, вот и домны, похожие на башни, вот шлюзные ворота, похожие на ворота крепостные!

Удар был нанесен в самое сердце Швеции. Люди, которые торговали железом во всем мире и добивались мирового владычества, чтобы лучше торговать, теряли свои заводы.

А в тылу лодки ходили между шведским и русским берегом через море, как через речку, увозя в Россию оружие и железо.

Шведы ждали: английский флот соединится с шведским и пойдет против Петра, но царь громил их берега не колеблясь.

Шведы отправили к Ревелю свои корабли. У острова Наргена, с которого видны высокие ревельские баш-

ни Вышгорода и торговые суда, спрятавшиеся у стен крепости, шведы встретили англичан и вместе начали обстреливать остров. Обстреляли остров и сожгли на нем баню и избу.

В голландских газетах появилась анонимная статья, господином Шафировым написанная. Шафиров заявлял иронически, что эта победа столь велика, что надо ее разделить между Швецией и Англией: он предлагал баню засчитать английской победой, а избу — победой Швеции, чтобы союзники не ссорились.

Вскоре князь Михайло Голицын разбил шведский флот и захватил четыре фрегата.

Жестокая буря проносилась над Санкт-Петербургом.

Нева поднялась и выступила из берегов и забелела от пены.

Уже была середина октября.

Вернувшийся Батищев был поставлен со своей ротой на караул у церкви святой Троицы, что против Петропавловской крепости. Здесь когда-то росла большая сосна. Про ту сосну в народе говорили, что при наводнении ее зальет до вершины.

Петр велел сосну спилить, и от нее остался большой пень. Рядом с пнем стояла высокая деревянная пирамида.

Под крутыми парусами по бурной Неве шел русский флот. Впереди наши галеры, за ними шведские пленные суда с русским флагом поверх шведского, а за ними опять наши фрегаты.

Перед Адмиралтейством отдали якорь.

Со стен крепости прогремел 151 выстрел.

Петр вышел к пирамиде и сказал:

— Товарищи, братцы мои, кто бы из вас за тридцать лет перед сим мог подумать, что буду я с вами на Балтийском море корабли водить и строить и что мы на старых наших землях, вновь нашим трудом и храбростью завоеванных, город воздвигнем, кто бы подумал, говорю я, что будет к нам от всех такое почитанье? Славу возглашаю я, — сказал он, — храбрым, победоносным солдатам и мастерам российского корня!

— Ура! — ответили толпа и войско.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О том, что делал Батищев во время войны и мира





лыла Нева, несла на себе новоманерные барки.

Строился Петербург, воздвигались в нем деревянные, мазанковые и каменные здания.

Деревянные здания обшивали тесом и раскрашивали под кирпич.

Тесу в Петербурге нужно было много и для инженерного строения.

В 1720 году, в середине февраля, по определению Главной артиллерийской канцелярии, на охтенских пороховых заводах решено было построить пильную мельницу по чертежам Якова Батищева и под его надзором.

Вскоре мельница была построена, пилила она тес и брусья для разных построек и для артиллерийского ведомства. Работа на ней производилась день и ночь безостановочно.

Батищев предложил построить еще вторую пороховую мельницу на речке Луппе; представил об этом проект, проект долго ходил по инстанциям; решено было, наконец, строить Батищеву эту мельницу, и было ему внушено, чтобы смотрел он за строением накреп-

ко, а для большего взыска определен был сам Батищев комиссаром.

Так снял солдат свою епанчу.

Комиссар Батищев донес летом, что сваи под мельницу набиты, а для дальнейших работ нет ни материала, ни рабочих, ни сметы. «А строить мельницу, я полагаю, — писал служивый, — надо в сухменное время, когда воды мало и тепла она и возможно в ней работать человеку». И просил он потому отпустить ему денег — полторы тысячи рублей на припасы и на наем рабочих.

Ту бумагу коллегия слушала и постановила: приказать комиссару Батищеву строить в нынешнее удобное время мельницу с прилежанием, и что если это строение его, Батищева, нерадением построено не будет и учинится в работе остановка, взыскать убытки с него, со штрафом.

Комиссар Батищев мельницу построил, но опять донес, что воды в пруде много, и, чтобы та вода не пропадала, просил еще разрешения построить пильную мельницу и приказа перестроить палисад вокруг старого завода, так как «в старом городке великое утеснение в строении и может быть от того пожарный случай».

Слушали донесение в коллегии, постановили: бумагу подшить к делу.

Шумела вода на новой запруде, шумели батищевские передачи.

Шла война. Тянулись переговоры.

Империя строилась.

Придумал Батищев новые лафеты, к лафетам такие колеса, чтобы они не рассыхались никогда, потому что сделаны они без втулки, а сами спицы, расширяясь и сходясь друг к другу, образуют как бы свод вокруг оси лафета.

На этих лафетах ходили русские пушки на далекие рубежи.

Шел октябрь 1721 года. Батищев вечером сказал Тане:

— Стреляют что-то...

Действительно, там, внизу реки, в Петербурге, бухали пушки.

— Может, лед идет, Яша?

— Лед-то идет, но не потому канонада. Посмотрим, Таня, оденься потеплее.

Вышли. Осень, дождь. Шумит река. Ветер скрипит одинокими соснами, оставленными на вырубках.

Дальний Питер чуть виднеется.

Пахнет морем, осенним листом и сосновой щепой.

Уже скоро ночь. И вдруг загорелись за Невой пламенем фитили, образуя синеватыми линиями здание со столбами и шпилями. Рядом со зданием появились два воина в синем огне — один, с правой стороны, имел на щите русского двуглавого орла; у левого воина на щите были изображены три шведские короны. Русский богатырь протянул свою руку с мечом — и пал швед.

Гремели салюты, а над Батищевым ветер качал высокие, синие при свете фейерверков сосны. Они качались, вплетая в ветер зеленые свои ветки. Огни салютов удлиняли тени, тени сосен бежали, качаясь, по Охте, по Неве.

Тут в небо поднялись ракеты, над городом загорелся щит, и на щите был виден русский воин, топчущий конем змею.

То была любимая потеха Петра — фейерверк.

Пороха было сожжено, как на большой битве. Содрогался воздух; при вспышке ракет было видно — по реке идет осенний ладожский лед.

Стих салют. А сосны все качались. В темном небе плыла без звука луна — белая, как прочищенная напильником сталь, местами она темнела, будто сквозь нее просвечивало темное небо. Пахло порохом.

Стало тихо — так тихо, что слышно, как льдины шуршат на реке.

— Мир, — негромко сказала Таня. — Теперь не будешь по свету маяться.

Это было 22 октября 1721 года.

Вскоре под барабан был прочитан на улицах и площадях милостивый манифест по поводу окончания войны.

На Охте его читали у церкви Иосифа Древодельца. Манифест извещал о больших льготах и снисхождениях. Говорилось в нем:

«Каторжников и колодников разобрать, а разобрав, определить: у которых ноздри не вынуты и клейма на щеки и лоб не положены, — тем быть попрежнему на службе; а которые из них на службу не годны, а также посадских и других чинов людей отпустить в дома их и крестьян отдать вотчинникам их; а которые хотя назначены на свободу, а у них ноздри вынуты и другие какие знаки положены, послать в Сибирь и определить по городам, дать им волю».

Крестились люди, вздыхая.

К милости в то время были люди не привычны, и законы в то время были строгие: за ношение сапог с железными гвоздями в каблуках положена была, например, каторга.

А тут послабление, потому что победа и не нужны уже больше к галерным веслам каторжники.

Застучали еще веселее в городе топоры, начали подыматься деревянные и каменные дома. Больше кораблей пришло в Петербург. Больше барок стало скрипеть причалами у пристани.

Потом настала зима.

На Охте кругом замело. Только у самой плотины завода чернела быстрина.

Приехал на пороховой завод генерал Брюс, посмотрел плотины, амбары, в которых обтачивали пушки, пороховые мельницы, проверил счета — оказалось, что все верно, расхода не много, машины работают хорошо, дают добрый порох.

Батищев же доложил, что есть в работе большая помеха от утеснения строения.

Генерал уехал.

Вскоре взорвало пороховой амбар и опалило четырех человек. Было следствие: не ходили ли пороховые ученики и плотники со свечой или с лучиной. Оказалось, ходили, но с фонарем.

Решено было комиссара Батищева послать опять сержантом в понтонную роту.

Заплакала Таня. Взял Батищев старую свою амуницию, выколотил епанчу, отпарил ее, починил, начистил старые штиблеты и касторовую шляпу, начернил усы, взял фузею и пошел в роту.

На завод комиссаром назначили Авраама Эка. Тот решил строить новую плотину, чтобы поднять воду для молотовой кузницы: перековывать в полосовое железо старое, негодное военное оборудование.

С той работой иноземец не справился и попросил вернуть ему Батищева.

Вызвали Батищева на пороховой завод.

Подал Батищев бумагу, что все сделать можно, но в строении получается великое утеснение и будет стоять кузница с огнем слишком близко к пороховой мельнице.

Приказали строить, а не разговаривать.

Стали строить: завод взорвало.

Решили построить при заводе церковь во имя Ильи-пророка — громовника, чтобы было где покойников отпевать да служить против огня молебны, а Батищева сделали опять комиссаром.

В 1733 году кузница была совершенно готова и начала действовать.

Наладил Батищев завод, обсадил улицы липами, начал мостить дороги досками, чтобы не вязли телеги.

В 1737 году получил комиссар Батищев чистую отставку. Снял он свое комиссарское платье, надел епанчу и всю прочую привычную солдатскую одежду и поехал с женой в родную Тулу.

Увидал здесь солдат, что отступил от города лес. Засеки с 1737 года приписаны к оружейному заводу. Рубят деревья и на ружейные ложа и на уголья.

И город переменился. В Заречье поднялась многоярусная колокольня двухэтажного храма, прозванного Никола Богатый.

Колокольня окрашена в зеленый и белый цвета и соединена с храмом ажурной железной галереей — мостом; рядом дворец Демидовых; построены палаты Акинфием Никитичем на том месте, где стоял когда-то старый отцовский дом.

Переменился и завод: построили со стороны московской дороги ворота со столбами, над воротами жилые палаты с тремя шпилями. Средний, пятнадцатисаженный, выкрашен лазоревой краской и несет навер-

ху вызолоченный герб, орла двуглавого. На двух крайних — золотые шары, а самые шпили красные с чернью. Внутри двора вдоль стен кое-какие кузницы с горнами, в середине двора остались четыре палаты для казны и пороха.

Большая часть кузниц на оружейном дворе сломана.

Отбились мастера, стали держать работных людей у себя по домам, и за отбелку стволов на казенных машинах платят они в казну деньги.

Тесть принял солдата гордо, хотя и не разбогател сильно. Дорого отпускает казна железо, а за работу платит умеренно. Впрочем, заработал Леонтьев несколько на модных пряжках для башмаков.

Посмотрел Батищев на свои машины: шумят колеса. Приладил он новый станок для обточки пушечных цапф. «Вот бы показать Андрею Константиновичу Нартову, но тот стал господином знатным и важным, чуть ли не генералом».

Побывал Батищев с Таней на Малиновой засеке, посмотрел на белок, походил по Ясной Поляне и послушал соловьев.

Всё поют.

Уехал отставной сержант в родной Венев.

А в Туле шумели, не старея, дубовые колеса: работали батищевские станки.

Самого Батищева забыли. Мало ли в России унтерофицеров в отставке!

Андрей Константинович Нартов жил как будто счастливее.

В 1723 году назначен он был главным токарем, а в следующем году подал Петру проект учреждения Академии художеств.

После смерти Петра поручили Нартову сделать столб, на котором должны были быть изображены все петровские победы.

Нартов этот столб сделал в малом виде.

В Академию наук были сданы все токарные принадлежности Петра, и вместе с ними перешел в Академию Андрей Нартов.

Умер он в 1756 году.

Токарные станки его с суппортами, в которых закреплены резцы, остались в Академии наук в специальной комнате.

Были выставлены они как редкость. Стояли они мертвыми, как непрочитанные книги.

Батищевские станки в Туле работали. На этих станках высверливали и обтачивали ружейные стволы.

Работали эти станки больше ста двадцати лет. Оружие, сделанное на них, побеждало по всему свету.

Батищева забыли, а машины его все работали и работали, создавая силу и славу народа.

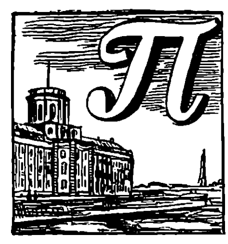
Но и в Туле и во всей России, и во Франции, и в заморской Англии, и в Германии — везде работали токари, держа резец в руках, как будто нартовское дело и не было начато.

Вывел нартовский суппорт из музея на завод, переделал мир токарным резцом, создал новый токарный станок другой туляк — Алексей Сурнин, о котором будет рассказано в следующей главе.

Когда умер Батищев, я не знаю. Бумаги и донесения его были потеряны. Часть их найдена была тогда, когда Наполеон взорвал в Кремле архив, а сам бежал, прогнанный русским оружием. Тогда, собрав разметанные взрывом листы, складывая их по переносам слов, узнали о Батищеве. Но и об этом будет рассказано после, потому что и та победа создана была не только военным трудом, но и трудом работных людей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В ней то, что задумано великими изобретателями, еще не стало повседневным великим делом



оздняя осень 1785 года; Нева еще не стала; по ней шел Ладожский лед. Льдины набегали на шпунтовый ряд, которым отделялась от воды гранитная кладка новой набережной на стрелке Васильевского острова. Льдины набегали и рассыпались, шурша и звеня; некоторые льдины причаливали к смоленым доскам, другие задевали за них и уходили, крутясь, дальше в туман, к Кронштадту.

На высоком берегу около здания Кунсткамеры стоял безбородый рослый человек в синей, недорогого сукна чуйке и смотрел на ледоход.

Он смотрел на льдины, на невысокую, как будто прижатую к левому берегу гранитную стену Петропавловской крепости, которая сама будто плыла туда, вверх к Ладоге, льду навстречу.

К нему подошел другой — приземистый, рыжеволосый, в черном франтовски сшитом кафтане.

— Здравствуй, Леонтьев, здравствуй, Яша, — сказал человек в чуйке. — А у нас в Туле Упа уже, не-

бось, стала!.. А здесь Нева ладожским льдом становится... Все здесь не по-нашему...

— Не в льде дело! — ответил рыжеволосый.

— Ну, так в чем же дело, неспокойная твоя душа?

— В тревоге, Алеша.

— Тревога твоя, Леонтьев, всегда пустая!

— Вот как бы не Леонтьева спрашивали, а Сурнина, ты бы не так говорил.

— Кто тебя спрашивает?

— Вот слушай, Алеша. Иду я тихо-смирно к Самборскому, к себе на квартиру. Вижу, еще до нашего угла не дойдя, дворник Аким метет улицу...

— Ну и что?

— Да ведь он не перед своим забором метет. Я, конечно, к нему подхожу, спрашиваю: «Кто тебя, Аким, нанял или так для кого стараешься?» А он говорит: «Для тебя». — «Как, говорю, для меня?» — «А вот, говорит, за тобой приходили, я вышел тебя предупредить». — «Что, будочник приходил?» — «Хуже, — говорит. — Приходил чиновник, весь полосатый, сердитый, и спрашивал туляков».

— Значит, и меня спрашивал?

— Ну, может, и тебя, только я знаю — во мне дело.

— Да с чего?

— Вот слушай, Алеша. Ты был в Питер позван первым...

— Ну так что ж?

— А вот что: когда уже не было тебя, жаловались мы, замочные отдельщики, на мастеров-ковщиков и подали челобитную, а она была нам возвращена с бранью, как бунтовщическая, тогда мы тихо-мирно сдачу замков прекратили, а наместник Кречетников на нас наложил разные тяготы. Говорил он с нами с великим криком, железа нам для работы не отпускал и грозил нас самих сдать в рекруты, и попал я тут под арест.

— Били тебя?

— Больше томили расспросами, но я отперся, а как я по своему делу лучший и дамаск мы, Леонтьевы, делать умеем, то отпустили меня.

— Ну и что?

— А тут к Михайлу Никитичу Кречетникову — тульскому наместнику сам Потемкин приказ прислал, чтоб сдал он четырех мастеров — тульских художников, а по шпажному делу мастеров не было. Вот и послали меня, разыскавши.

— Значит, забыто то дело?

— А вот теперь опять ищут.

— Беда, Яша...

— Беда, Алеша!.. Дай денег, а я убегу и на квартиру не зайду, пускай пропадут вещички.

— Денег я тебе достану: вот в Кунсткамеру зайду — там мне должны, а деньги я тебе принесу вот сюда, на это место, а ты покамест стой между народом, разговаривай, что, мол, льдины идут и очень это любопытно.

Льдины шли по реке, как толпа мастеровых, — угрюмо и неохотно.

Рыжий человек остался на месте, поглядывая на ледоход и поеживаясь от холода.

Алексей Сурнин вздохнул и пошел в Кунсткамеру.

Привычно глянул он на притолоку: на притолоке медный гвоздь обозначал рост императора Петра I, который умер более шестидесяти лет тому назад.

Кунсткамера состояла из коллекций, когда-то собранных императором, и из его личных вещей.

Про Петра в Петербурге любили вспоминать. Говорили об его росте, о неукротимом характере.

Гвоздь на притолоке человеку, вошедшему в комнату, приходился выше головы на пядь.

Окна портретной комнаты выходили на северо-запад. За окнами — деревья, уже голые, за сетью веток — двенадцать крыш длинного здания, протянувшегося от Невы до Невки.

Комната полна зеленым светом; на окнах зеленые занавески, на полу зеленое сукно, стены обшиты досками и тоже покрашены матовой зеленой краской.

Верх стен обведен широким позолоченным карнизом. Над карнизом по потолку написано голубое небо, с летними белыми облаками.

В глубине комнаты за стеклом кресло под зеленым балдахином.

В кресле, скрестив ноги в розовых чулках и изношенных башмаках, положив руки на подлокотники, в голубом кафтане сидела кукла, изображающая Петра.

На стенах висели гравюры, инструменты, приборы, изделия из кости. Все это было вещами живого, умелого, много работавшего человека.

Кукла не была похожа на Петра потому, что она была куклой, в ней было внешнее подобие, но не было настоящего сходства. Портреты на стенках были более похожи. На них и в петровских вещах был виден неутомимый, часто опрометчивый, но умевший работать человек.

Алексей Сурнин вошел в соседнюю комнату.

Стены в токарной — голубые, в простенках — столы с медалями, выбитыми в честь петровских побед.

Середина комнаты занята станками.

Самый большой станок имеет высоты около сажени, он великолепно украшен изображениями Риги, Нарвы и Ревеля. Другой станок — поменьше — двух аршин высоты, с изображением взятия Выборга. В станок этот вложен деревянный кружок, на котором уже обозначены первоначальные черты работы. Третий станок сделан из дуба, а механизм на нем стальной. В нем находится цилиндрическая фигура вышиною в шесть с половиной, а в диаметре около восьми вершков. Фигура эта медная. Станок копировальный, и в нем находится еще не до конца обработанный цилиндр из пальмового дерева, и на этом цилиндре тот же рисунок, что на большом цилиндре, но уменьшен вдвое.

Сделан этот станок уже после смерти Петра механиком Андреем Нартовым, великим токарем.

Всего станков в токарной девять: из них русской работы шесть.

Русские станки от заморских отличаются тем, что в них резец закреплен. В иностранных станках резец должен держать мастер.

Если хочешь на нартовском станке снять копию с какой-нибудь вещи, закрепляешь ее, пускаешь станок в ход, по модели бежит копировальный палец, как бы

ощупывая ее, и через сложный механизм передает это движение на обрабатываемый предмет.

Резец снимает ровно столько, сколько надо по масштабу.

Царь, не будучи полным мастером в токарном деле, которому он не мог отдать много времени, умел вытачивать на таких станках вещи, какие не сделал бы и сам Алексей Сурнин — великий тульский токарь.

Сурнин, поправляя свои белокурые волосы, сейчас смотрел на эти станки: они так его интересовали, что он на минуту даже забыл о беде Леонтьева, а та беда могла стать и его погибелью.

Вызвали в Питер сперва Сурнина, потом Якова Леонтьева: вызвал светлейший князь Григорий Потемкин — царицын фаворит.

Поставили туляки Потемкину ванну серебряную, делали разное оружие, чинили замки, но дело было не в этом: вызваны они были потому, что Потемкин решил послать туляков в Англию — не то доучиваться, не то англичан удивлять.

Так было решено и записано, но не подписано и об исполнении забыто.

Светлейший князь по множеству дел о туляках забыл начисто, доложить было некому. Пока туляки жили у протоиерея Самборского на дому, учились у попа английскому языку, сделали ему насос к колодцу, крышу перекрыли уральским железом, починили часы, вскопали огород, посадили капусту, починили бочки, заквасили капусту. Решения не было.

Рыжий Яков ходил по домам и делал разную слесарную работу.

Сыт он был, пьян, нос у него в табаке: табак он нюхать любил и табакерку выточил себе сам из березового наплыва.

Завел Яков себе высокие мягкие сапоги, кафтан городского сукна, со шнурками.

Сурнин больше ходил в Кунсткамеру и дивился на станки.

Интересные станки сделал Нартов: они Сурнину самому как будто и не нужны, но что-то в них его беспокоит. Он сам набился сделать в них ремонт и, разо-

брав и собрав диковинные машины, еще больше на них удивился.

Сурнин сам руками умеет работать, резец твердо держит в руке. Для него станок с закрепленным резцом как будто игрушка — невидаль, но чем-то ему эта невидаль очень нужна.

Вот в Туле солдата Якова Батищева стоят снасти. На них обдирают и высверливают по двенадцать стволов вдруг. Сделаны они просто, а в этом станке пропадает, как в клетке соловей, хитрая мысль мастера, и как ее выпустить? Какая она будет на воле — не разберешь!

— Мастеру Сурнину почтенье, — послышался голос.

— Льву Фомичу Сабакину нижайший поклон, — ответил Сурнин, кланяясь не очень низко, но уважительно человеку в черном кафтане.

Башмаки на Сабакине — увидал Сурнин при поклоне — грубые и пряжки не серебряные, но все же носит Сабакин башмаки, не сапоги, а ведь человек из тверских крестьян. И вот стал тверским губернским механиком, шлюзы строит, часы делает астрономические, с академиками разговаривает, и они его слушают.

«Мастак», — подумал Сурнин, поклонился второй раз пониже и увидал, что башмаки на Сабакине сильно поношенные.

— Вот какое дело, братец, — сказал Сабакин, — отец протоиерей Самборский тебя хвалит, а ходишь ты здесь без дела, а дело у нас есть.

— Нам работа нужна, — сказал Сурнин. — Я, между дворов скитаясь, оголодал. Вот нартовский станок налаживал, пришел за деньжонками.

— Есть работа другая. Двадцать четыре года тому назад сделал Михайло Васильевич Ломоносов трубу зрительную в семь сажен длиной, с зеркалом отражательным, в небо смотреть. Поставил он в трубе зеркало так, что можно смотреть на него сбоку. Смотрел через ту трубу в небо и увидал все тайны великого небесного здания. Увидел наш Ломоносов на Сатурне полоски и, смотря на прохождение планеты Венеры через солнечный диск, заметил, что есть на той Венере атмосфера, как бы тебе попроще сказать, — воздух...

— Любопытно, — сказал Сурнин, — но что тут может сделать токарь? Как нам этому делу помочь?

— Токари эту штуку делали и зеркало полировали, — ответил Сабакин. — А Михайло Васильевич об этой трубе речь приготовил ко дню именин Петра Федоровича, что из Гольштинии был и умер потом в Ораниенбауме.

— Об этом слыхали.

— Если слышал, так молчи.

— Молчим, — сказал Сурнин. — К этому мы приучены.

— А Михайло Васильевич, — сказал Сабакин, — не молчал, — он был человеком с открытой душой: что придумает, сейчас же расскажет.

— В нашем деле надо и помолчать, — проговорил Сурнин.

— Поставили трубу здесь в Кунсткамере для всеобщего обозрения и показывали ее каждому приезжему.

— Значит, для нашей славы?

— Значит, так!.. Стояла труба долго, и зеркало в ней от времени потемнело, а теперь труба опять понадобилась.

— В небо смотреть?

— Нет, иностранным господам показывать ее заново: есть в Англии немец Гершель, служил он сперва придворным музыкантом, а потом стал строить трубы подзорные и через них смотреть в небо.

— Хороши его трубы?

— Хороши, и строил он их много и построил такие трубы — подобные ломоносовской, о нашей трубе то ли зная, то ли не зная...

— Может, прохвастали?

— Может быть, и так. Сейчас что важно? О трубе в мире большая слава. Надо напомнить, что была она у нас раньше...

— После драки кулаками не машут, — сказал Сурнин.

— Это не твое дело! Вот только ломоносовскую трубу при показе попортили. Мы теперь трубу почи-

ним — не в небо смотреть, а гостям показывать: может быть, совесть у людей найдется...

— Мы работать согласны, — сказал Сурнин.

— Только вот какое дело еще, — сказал Сабакин. — У Академии денег нет. Мы тебе книжками заплатим, а ты их, где хочешь, продавай. Или сам читай — ты ведь грамотный?

— Грамотный... Только вот мне бы на харчи, господин Сабакин, получить...

— Будешь харч получать у меня. Лишняя ложка в тех же щах не заметна. Работать начнешь сегодня.

В комнату вошел молодой человек во фраке с высоким лифом, в башмаках со стальными ворончеными пряжками английской, бирмингамской работы. На человеке был фрак из черно-желтой парчи.

— На зебру похож,— сказал Сурнин тихо Сабакину.

— А ты зебру видал?

— Здесь, в Кунсткамере, видал.

— Это не зебра, — тихо сказал Сабакин, — а модная нынешняя материя. Зовется — очаковская, в честь давнишних побед.

Человек в модном фраке подошел к Сабакину, повернулся перед ним на высоких красных каблуках и, смотря на свои стальные пряжки, сказал Сурнину:

— Почтеннейший, не слыхали ли вы об Алешке Сурнине и Яшке Леонтьеве?

— Это я и есть, барин, а Леонтьев неведомо где,— сказал Сурнин, робея.

— Что же ты дома не сидишь? Ты подумай только, чуйка, я из-за тебя по всему городу бегаю, да как бегаю! В одном камзоле. Ты, борода, понимаешь, что я могу простудиться?

— Понимаю, ваше сиятельство, фрак на вас легкий.

— А ты понимаешь ли, чуйка, что я из-за тебя через Неву в ледоход два раза на ялике ездил? Ответь, страшно мне было или не страшно?

— Не могу знать!

— Так вот знай, не было мне страшно, потому что я понимаю, что чему быть, того не миновать. Знакомец мой, с которым мы, может быть, в одном корпусе учились, — теперь полковник — Кутузов Михаил, так

сколько ни сражается, и все не убит, а даже получил Георгия, — впрочем, я его по орденам старше.

— Что жив — то воля божья.

— Фортуна!.. И я не боялся, на фортуну надеясь, потому что ехал с именным предписанием его сиятельства Григория Александровича Потемкина, всех орденов кавалера, с предписанием, как со знаменем.

— Вы пройдите, ваше сиятельство, — сказал Сабакин, — поговорите о делах в канцелярии.

— Времени нет, — сказал человек в пестром фраке. — И я еще и не сиятельство, имей это в виду. Садился граф в ванну и вспомнил о туляках и спрашивает: когда их отправили, что они пишут? А мы сказали, конечно, что их уже отправили... Так, чтобы это было правдой, уезжай тотчас.

— Коли так, я Леонтьева разыщу.

— Отправить обоих немедленно! Ежели вы здесь будете, так я хоть и добрый человек, но тупым концом вас в землю вобью. Про вас граф спрашивал, приказал вас ободрить письмом, так считай, что я ободрил. А ты за ним смотри, — обратился он к Сабакину.

— Я Тверской губернии механик, — сказал Сабакин, обидевшись.

— Тоже чин! — ответил человек в зебровом фраке. — Механикус. Ну, если чин, так отвечайте за него, как чиновник. А мне торопиться надо. Вон на Неве от льда промежуток есть. Я из-за вас тоже тонуть не намерен.

Человек во фраке ушел, поспешно стуча красными каблуками.

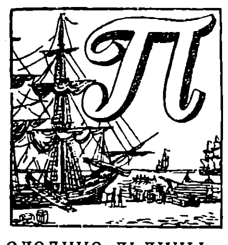
— Вот и не починим ломоносовской трубы, — сказал Сабакин. — Ну что ж, уезжай, друг. Хоть завтра ты не поедешь и послезавтра не поедешь... Крик криком, а бумаги вам выписывать будут долго. В Англии и я сам был и еще, говорят, поеду. Зовут меня в тамошнее Королевское общество доклад читать. Заодно Воронцову часы починю. Тебе же ехать надо сейчас.

— В Кронштадте кораблей уже нет, в море лед.

— Приказано вас представить, как-нибудь проедете.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В ней тверской механик Лев Сабакин собирается в Лондон и ведет по дороге беседу на Котлине


прошло полгода.

Ранняя весна.

Большой город Санкт-Петербург блестит куполами и шпилями вдали, над бледноголубым заливом.

В заливе льдины — проходит весенний ладожский лед.

К Котлину плывут, рассыпаясь, последние льдины.

Над Котлином летят утки, летят все время, весь день и всю светлую ночь.

Море за Котлином свободно от льда и лоснится, как новая жесть.

К вечеру меркнет жесть и темнеет ее пологая, от дальней бури рожденная волнистость.

Над заливом к Петербургу по небу плывут и тают, как льдины, легкие облака.

В оловянном блеске моря с обнаженными черными мачтами стоят корабли — ранние корабли, пришедшие из Англии за русским железом. Без него уже проголодались английские мастерские.

Кораблей много. Кормы их расписаны красками, на носах кораблей иззолочена резьба.

В воде отражаются позолота кораблей, черные мачты и пеньковые ванты.

Корабли грузятся сперва досками, потом уральским железом. На железо опять кладутся доски и опять железо, а сверху грузятся лен и пенька.

От Петербурга через мели идут лайбы, соймы и галиоты — везут железо, пеньку и доски.

При Петре, а было то шестьдесят лет тому назад, приходили корабли в самый Питер, но замелела вода.

Приходили корабли с балластом, песком, потому что везли в Петербург дворянам на потребу товар дорогой и убористый, а увозили лен, доски, пеньку.

Сейчас везут в Англию железо. Вывезли в прошлом году близко к четырем миллионам пудов.

То ли река сама нанесла ил, то ли недосмотрели, что корабельщики бросали в воду балластный песок, — замелел Петербургский порт, и грузятся корабли в Кронштадте. Большая от этого морока.

Плывут друг за другом галиоты и соймы короткий свой путь от Петербурга, стараясь не вступить в ветреную тень соседа.

Итти по мелководью трудно: узко лавировать.

Кронштадт уже семьдесят пять лет стоит на острове Котлине; с юга на отмели крепость. Улицы города по острову легли вдоль и поперек, прямые и широкие. Церквей православных в Кронштадте четыре и собор Андрея Первозванного. Есть еще немецкая и английская. На весь мир знаменитый кронштадтский док. Тот морской док начат при Петре, в 1719 году, а кончен при его наследниках, в 1752 году.

Канал длиной в две версты и пятьдесят сажен; идет он от крайних шлюзов в море на версту, и огорожен он каменными молами.

Кончается канал большим каменным бассейном, из которого вода может быть выкачана. Тому сооружению равного в мире нет; закрывается док воротами, затворы сделаны самим Нартовым.

По сему случаю поставлены при устье дока две четырехгранные пирамиды с надписью: в надписи упоминалось имя императора Петра I и императрицы Елизаветы Петровны, а имя Нартова не упоминалось.

В тот день в каменном бассейне дока стоял корабль — большой, трехпалубный. Вода в доке убывала от крупных глотков машины. Огромный корабль с высокими мачтами был похож на ребенка, посаженного в неглубокое корыто для того, чтобы его помыть.

Рядом прежде стояла мельница ветряная. На нее правили корабли с моря, и махала она из Кронштадта широкими своими крыльями, как бы в гости зазывая. А сейчас стоит дом. Дому тому четырнадцать сажен росту, и он тоже издали виден. Крыт дом уральским железом, что не ржавеет. Из дома идет дым и пар.

В середине машина огневая в десять сажен высоты. В ней цилиндр — в размах шириной, в цилиндре ходит поршень на цепях, привешен к большим бревнам и быстро качается: в минуту раз по восемь.

В том же доме котел тройной — вмазан в духовую печь, в которой огнем посредством вьюшек управлять удобно.

Идет от котла пар в цилиндр. Когда поршень поднят, наполняют паром весь цилиндр, потом пускают в цилиндр воду, и пар с холоду ежится и садится: возникает под поршнем пустота, наружный воздух вдавливает его вниз, а он за цепь бревно тащит и наперевес подымает тот поршень, что ходит в насосе, а насос сосет воду из дока.

Машину сделали англичане. Стоит она в Кронштадте скоро десять лет.

Сейчас на машину смотрят двое русских. Один — это Лев Сабакин; он спокоен, руки вдоль тела держит, а голову прямо, одет чисто и не цветасто. Другой — молодой, быстрый, в пестром камзоле и зеленом кафтане, в легких пестрых штанах и русских сапогах.

Пыхтит машина. Топят ее земляным угольем, что привозят из Англии на английских кораблях, глотает машина из дока воду по сто тридцать ведер враз.

— Хороша машина, да прожорлива, — сказал младший.

— Да, господин Дмитриев, — ответил старший, — угля идет в работе несоразмерно.

— А как же вас, господин Сабакин, зовут по отчеству?

— А и не зовут. Я не из господ. Есть бояре Собакины, из них Собакина Марфа Ивану Грозному была третьей женой. Собакины тем гордятся: говорят, что они вроде как царских кровей.

— Стыда нет у людей, — сказал Дмитриев. — Так как же вас, батюшка, зовут?

— Зовут меня — господин тверской механик. Сабакиным меня зовут, а не Собакиным, как бояр. И не Иванович и не Алексеевич, — живу без «вича». Я Сабакин самый обыкновенный, из-под Старицы, что на Волге. Ну, научился по шлюзному делу, часы астрономические сделал. Про Кулибина слыхали?

— Кто же про него не слыхал!

— Так вот Иван Петрович часы мои одобряет. Смотрел еще мои часы Николай Гаврилович Курганов — тоже из простых людей, но дошел до учености. Говорит Курганов, что часы мои не хуже гариссоновских и что нужны они весьма. А почему? В последние годы французы и англичане нашли на морях и океанах острова, по сие время прочим жителям земноводного шара совсем неизвестные, и мы, неутомимые россияне, также нашли на самом севере новые земли и множество до того неизвестных островов. Часы же мои надобны для точного определения места по солнцу.

— Большой человек Иван Петрович, только выпить любит.

— Ну, что же, живет с огорчениями... Беден, из дому унести у него вору нечего. А я живу в своем приобретенном мещанстве со своими людьми, что тоже без отчества ходят. Между собою, конечно, иные величаются по отчеству, а придем в магистрат — по имени. Так я уже свое отчество и не выговариваю. Так ты про махину скажи, как ее в ход пускают. Что, неужели воду ведрами носят?

— Перед пуском бак наполняют водой вручную, воду носят двадцать человек трое суток. В Барнауле у Ползунова было не так, да не переняли.

Так говорили люди у подножья машины. Балансир качался над ними, и шла по лицам людей полукруглая расщепленная тень.

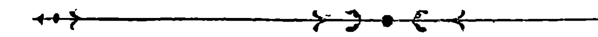
Качалась, спеша, машина, сосала воду, захлебываясь и хлюпая.

Вышли двое на улицу. Тут не пахло сернистой гарью. Над головой летели утки на север.

Был вечер. Шелком лежал залив. Голубое небо сияло над головой высоко, и быстрые облака были похожи на легко взбитые купеческие подушки.

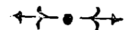
Белая ночь не давала спать людям. Кронштадт жил. По улицам ходили матросы в серых бушлатах с плисовыми воротниками, а иные и просто в зеленых шерстяных фуфайках, офицеры — в зеленых мундирах с красными отворотами, негоцианты — в кафтанах, башмаках и чулках, купцы — в русской одежде. На галиотах, плывущих к кораблям, кто-то пел протяжную песню.

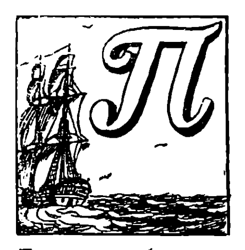
Дома Кронштадта в белой ночи стояли без теней. Черный дым поднимался столбом в небо. Там он распадался в дерево, и могучее дерево вставало над Кронштадтом — дерево нового времени, дерево с огненными корнями, с дымным листом.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

в которой говорят русские мастера о трудных своих делах. В этой длинной главе механик получает напутствие





Пойдем к Мартышке, — сказал Дмитриев.

Мартышка держал харчевню недалеко от храма Андрея Первозванного.

Мартышка сильно стар. Борода у него по морской манере на горле. Не то это борода, не то это баки. Будто и борода, будто и не борода, будто бы и мужик, а будто и иноземец. На Мартышке желтые башмаки и красные чулки, желтые плисовые штаны и куртка на меху, который лет двадцать тому назад был лисьим; жилет полосатый; по жилету дорогая и самая модная стальная цепочка — английской, бирмингамской работы; ценой она была бы в золотую, да куплена с корабля, без пошлины.

— Поздновато, — сказал Мартышка. — Думаете, что коли белая ночь, так я уж и спать не должен.

— В гости пришли, Мартын Мартыныч!

— Мартыныч!.. Поживу и Мартышкой. А ты Мартышке деньги принес?

— Я плачу, Мартын Мартыныч, — сказал Саба-

кин, садясь. — Будем знакомы: тверской губернский механик — Лев Сабакин. В Лондон еду. Дайте мне пива для ознакомления — английское крепкое.

— Выпейте водки, господин механик. Ночь свежа, по водке в Англии соскучитесь. Плохая у них водка. Садитесь, господин механик, я вам окошечко открою. У меня сирень во дворике.

Мартын Мартынович открыл окно; как будто дожидавшийся этого, за окном любезно запел соловей.

— Присаживайтесь, Мартын Мартыныч, — сказал Сабакин, — выпьем на расставанье.

— На каком корабле изволите отъезжать?

— «Аурора».

— Корабельщик Лензеби, — говорит Мартышка, — идет с железом. Завтра, коли будет ветер, пойдете.

— А в Англии соловьи поют? — спросил Сабакин Дмитриева.

— Поют и сладко.

— А строение какое в Лондоне?

— Строение в Лондоне непорядочное — вразброд, но все больше в три жилья. Впрочем, город хороший.

— Хорош без порядку?

— Богат, хоть и дымен город. Много в нем лавок для чистки белья. Дымен город и туманен, а не плох.

— А наша Тверь, — сказал Сабакин, — после пожара стала красавицей. Площади круглы, вокруг них дома стоят в порядке, ни малы, ни высоки, а какие надо. Красивый город! А вот Питер мне не показался, хоть и жил я в нем долго.

— Питер потишел, — сказал Мартышка. — Как вам, господин механик, приглянулась наша махина?

— Пыхтит, — ответил Сабакин. — А тут подумать: вот баба печет хлеб, так ведь она жар бережет: растопит печь, постирается, помоется потом в ней, а тут нагреют цилиндр, холодят, потом опять греют. Разорительная машина! Много лучше сделать можно.

— А у нас в Кронштадте без нее нельзя, — сказал Мартышка. — У нас реки нет. Я вот с того, можно сказать, спился. Вода пресная должна доходить до нас невской струей, да часто морем солонится. Так

мы воду не пьем. Ниже пива не спускаемся. А вы по какому делу едете?

— По секретному.

— А язык знаете?

— Несколько.

— Пить можете?

— Не пью без разуму, но меня не перепьют.

— Так выпьем за мель, если угощаете.

— А почему за мель?

— Потому что от мели Кронштадт расцвел. Идет товарам перевалка, а у меня торговля в гору; могу и вас угостить.

В кабак вошло еще несколько матросов, сели за столы, обитые посеревшим от старости свинцом. Постучали.

Послышалась английская и голландская речь.

Служанка подала пиво в оловянных кружках.

— Вотька есть? — спросил матрос и засмеялся.

— Просто хоть не держи пиво, — молвил Мартышка. — Вот стоит, — продолжал трактирщик, — стоит эта махина скоро десять лет, и я на нее не жалуюсь, — пускай пыхтит. Я, Мартышка, конечно, все знаю: поставили ее, господин механик, по собственной ее императорского величества воле, запросило ее императорское величество коллегию, известно ли коллегии о махине, в Англии выдуманной, которая огнем выливает воду. Ну, конечно, коллегия отвечает, что ей все известно. Когда начальство спрашивает, никто не отвечает: не знаю, мол.

— Я про огненную махину тоже знаю, — сказал Сабакин.

— Нет, вы не начальство, вы всего знать не можете. Запросили Карронскую компанию, — ту, что пушки-коротышки делает — каронады, — может ли она продать нам махину. Конечно, отвечают. — За сколько? Сговорились. И вот пришли к нам части махины и разные чугунные вещи на двух кораблях, а потом пришел еще третий. Полторы тыщи штук вещей разной инженерной работы привезли: почти шесть тысяч пудов. И везли — сказать обидно даже — кирпич, глину. Только песку не везли.

Сделано было то по ихнему английскому высокомерию и хвастовству, хотя железо-то не они к нам, а мы к ним возим и не тысячами пудов, миллионами. Привезли английских рабочих людей — инженерного помощника Джемса Смита и рабочих толпу. А с ними не рядились, потому что из Англии рабочих выписывать нельзя, а ехать они должны были на своем коште. Поместили их ко мне, дали им на довольствие по пяти рублей, а инженерному помощнику по семи рублей с полтиной на неделю.

— Большие деньги! — сказал Сабакин.

— А им все мало. Пьют, едят, а без контракта не работают. Сразу выучились — вотька, пиво. Пьют эти художники, я их кормлю, выключая напитки, а они на то трактирное содержание не согласуются. Тут решили платить им просто жалованье, чтоб покупали они все по торговой цене. Вот они собирали, работали долго. Собрали, деньги забрали, уехали.

— Это я все знаю.

— А вот ты чего не знаешь! Выписали мы эту махину из Англии и там искали и спрашивали — нет ли такой махины переносной? А такая у нас уже десять лет в Барнауле гниет. Ползуновской она работы и гораздо уютнее: в два цилиндра, и дыму от нее, говорят, меньше, и дров да угля не столько жрет. Так за что же мы больше двадцати тысяч денег заплатили?

— За глупость, а про Ползунова знаю.

— Про него не приказано знать: опрошена была бы коллегия, известно ли ей про ползуновскую махину, она ответила бы — известно. А поправить начальство никто не решился. Так у нас переносной машины и нет.

— Может, я за ней и послан, — сказал Сабакин.

— А сам придумать не можешь?

— Может, и придумал. Вот я модель в Англию везу, да оттуда обратно привезу опробованную.

— Дело обыкновенное, — сказал Мартышка. — Так разные товары туда-обратно возят. Паруса полощут, холстину треплют.

— А вы, Мартын Мартыныч, трепаться не боитесь?

— А я же Мартышка — с Мартышки какой спрос?
Мартышка выпил.

— Ну, коли хвастать, так хвастать. Был князь Меншиков. Шелк носил красный и зеленый, был после царя человеком вторым, звали его фельдмаршал. Города брал, на коне скакал, воровал. Целые провинции за собой записывал. Ну, построил дворец, город поставил — прозвали Ораниенбаум. А отец много позднее под тем городом держал кабак, и ездили к нему, а потом ко мне разные люди, больше из офицеров. Если будет какая власть и перемена — у нас сговаривались. А я — что слушал, что не слушал — все забывал и на дыбе только раз пропадал.

— А сколько на дыбе висел?

— Три обедни.

— Полный паек.

— Сговорились они у меня, потом новую власть пропивали. А я — что слушал, что не слушал — думаю, как бы подальше. У меня от этих государственных дел усталость и руки в суставах болят. Знал, что путь к Питеру помелел, — ушел в Кронштадт. Так что же ты думаешь: двадцать пять лет я тут торгую, а место, где наш кабак был, и сейчас Мартышкиным называется. И, может быть, будет Мартышкиным до скончания веков, а от Меншикова имени не осталось. Вот что такое значит Мартышка.

— Каждый славы хочет, — сказал Сабакин.

— А ты не хочешь?

— Хочу, Мартышка, — говорит Сабакин, — только слава у меня должна быть другая. Вот показывали вы мне огневую машину, а она по действу своему стара. Сделал я другую и докладывал об ней неоднократно. Никто меня не слушал, а теперь меня зовут в Англию, и буду я в Лондоне о своей машине доклад делать.

— А ты не делай, — сказал Дмитриев.

— Почему не делать?

— Украдут.

— Сам боюсь. Да велено прочитать, чтобы знали английские люди, что есть у нас механики и что мы не все из их рук видим и перенимаем.

— Михайло Ломоносов какой орел! — сказал Дмитриев. — А что придумал он — уплыло.

— Уплыло, да не все, — сказал Сабакин. — Трубу я его хоть и не без труда, а сделал и сквозь нее в небо смотрел.

— Слушай, Сабакин Лев, — не знаю, как по отчеству, — расскажу я тебе свою историю.

— Романом меня зовут,— начал Дмитриев.— А всего нас в Кронштадте таких молодцов двое: я да Федор Борзой. Мы здешние, кронштадтские. Кончили мы школу при канале, учились арифметике, рисованию, тропарям и черчению. Выбраны мы двое из всей команды на практику, и, значит, работали мы при огненной махине с англичанами вместе. В июне семьдесят седьмого года кончили мы вот в такую же тишь. И в том же году посланы мы были — Дмитриев Роман и Борзой — в Англию для точного познания той махины. Побывал я на Карронских заводах.

— Хороши? — спросил Сабакин.

— Хороши и страшны. Каронады, знаете ли вы, пушки короткие, в заряжении быстрые, для сверления удобны, а дуло широко, стреляют малым зарядом.

— Значит, бьют не сильно? — спросил Сабакин.

— Вот иглою ежели ударить яйцо, — ответил Дмитриев, — его проколешь, а ударишь костяшкой — продавишь. Прежние пушки корабль прошивали, а каронадовое большое ядро борт давит в щепу, дает осколков до удивления. Сверлить же их удобно, потому что коротки.

— Значит, придумано умно?

— К тем пушкам приспособлен англичанами ближний бой — огненный, а на абордаж они не идут, — продолжал Дмитриев. — Шуму там и огненных языков и визгу блочного — прямо даже не сообразишь. Колесо там вертится над рекой на перепаде; в колесе больше семи сажен в спицах, а рабочих вокруг тысячи четыре. Железа там девать некуда: стулья железные, сундуки железные.

— Дров-то сколько! — сказал Мартышка.

— Вот у нас из дров уголь делают, так они из

каменного угля прокаливают кокс и на том коксе льют чугун, хоть и не столь чистый.

— Сколько же это угля идет?

— Свыше, сколько можно вообразить; те огненные машины при шахтных ямах и выросли: не могли иначе воду из ям откачать. Жрали эти самые машины угля до удивления. А механик Уатт, вроде тебя, Сабакин, — человек не из знатных: часы чинил, табакерки с музыкой ладил, при ихней школе чинил разный инструмент. Не столь, сколь Курганов, учен, — нет, но вроде тебя, Сабакин. И придумал он пар под поршень пускать. Жмет пар, и поршень его не от зыбкости вниз идет, а от пара вверх.

— А у меня, — сказал Сабакин, — он вниз и вверх пойдет от пара.

— Эх, голубь, — сказал Дмитриев, — ты спеши. Работал я сперва у Смитсона — славного человека, а потом при самом Уатте. Главное дело — цилиндр сделать. В машине пар пронзительный — он продирается. Пробку туда не поставишь. Так что придумали: свинцом заливали трубу, а потом по сорока человек бревном с наждаком трубу взад-вперед шустовали.

— Как ружейный ствол, внутри выгорелый, правят, — сказал Сабакин.

— Ну так, так ведь тут поршень-то о стенку трется. Сейчас свинец по мягкости своей сдает. А в трубу не залезешь: длинна, как пушка, не вроде карронады. Вот и мучаются люди вокруг. Толк-то есть, а не втолкан весь.

Вот вокруг этого мы и крутимся — как железо к железу плотнее прижать, если вручную, то ты мне вот положи пять рублей золотом, а я тебе и фута не сделаю, а в Англии и за десять рублей не сделают. Работал я также у Уатта в Сохо — завод у него на канале большом стоит. Поверишь ли, вода в каналах у них угольем пахнет. Там и мосты из железа.

— Врешь, — сказал Мартышка. — То в сказке.

— Какая тут сказка! Сам ходил. Не понимаешь ты, Мартышка, нонешнего времени. Работал я и с Вильямом Мердоком, наших мастеровых кровей че-

ловек, и на Уатта смотрит он, как собака на мясо, высоко повешенное. В глазах у него, значит, и искра, значит, и просьба, и от тоски уже умиление, а сам какой головы человек! Он всю эту махину точит. Вот тут я работал, кое-что и сообразил... А ходу мне все равно нет. И напрасно мы туда поехали, — я-то знал, что в Барнауле Ползунов мехи цилиндром ладил, вроде водяного насоса. Я тем и похвастал, а они сделали.

— Прохвастал, — сказал Мартышка.

— Прохвастал. Думал: я — у них, а они — у меня. А этот Вильям рыжий сразу перенял и так же насос сделал. Вот теперь и свищут они моим свистом. А Борзой не такой: его на дыбу подымай — не проговорится. Посмотрели, видим — не поумнели, и поехали домой. И начал здесь Борзой — он человек пресветлый — делать свою модель. Пошла машина на апробацию. Видят люди — имеет она настоящее действие. Выкачала тридцать сороковых бочек в одни сутки и угля взяла на то двенадцать пудов, и сделано было не как у Уатта, а с нашими примечаниями — с паровым дутьем в топку, но нашего дела не переняли. Англичане дотошны: у них один не притрет поршень к цилиндру — по миру пойдет, другой дело перенимает, потому что английские люди на дело, как пчела на мед, дерзки — жрут и тонут, и опять летят. А у нас сделал наш Борзой машину и послал ее на апробацию, да не так написал: кронштадтскую огненную похаял, а она утвержденная. Взяли его под караул, и сидит он вот здесь, а я таскаю к нему хлеб да мясо и водку, когда пропустят.

— Не хвастай, — сказал Мартышка. — При мне сколько императриц меняли, каких только дам на престол не возводили — сами придумают и сами ахают, — а я водку подаю, пиво подаю, а сам молчу. И, вот видишь, много ли я на дыбе висел! Живой хожу. Только вот плясать не могу, да и возраст не тот. Жив за смирность.

— Свет ты мой господин Сабакин, — сказал Дмитриев, — приедешь — ты Борзого не забудь. Что ты придумал — я не знаю. Вижу по глазам — придумал.

Ты у английских людей все спрашивай, а коли они спросят, говори — не понимаю, а коли еще спросят, ты скажи: где нам, у нас страна деревянная.

— Ой ли! — скажут англичане.

— А ты божись и говори: деревянная, на квадратных колесах ездим. Так говори... А не то проговоришься. Они спрашивать умеют с лаской.

— Ты Борзому от меня поклонись, — ответил Сабакин. — Устоим... Пушки у нас не хуже стреляют. Что длинно, что коротко, что кругло — знаем.

— Заговорили вы меня, — сказал Мартышка. — Голова у меня от вас заболела. Я думал, что вы об интересном хвастать будете, а вы о деле. О деле пора кончать. А вон и солнышко — черпнуло оно водички и опять в небо.

— Неясно солнце, — сказал Сабакин.

— То и хорошо. Ветер с тучкой пришел попутный. Прощай, Лев Сабакин, господин, — отчества твоего не помню.

— Прощай, Мартын Мартыныч!

Солнце и в самом деле поднялось, ветер дул на море, и корабли, тихо скрипя причалами, звали корабельщиков в открытое море.

Одевались корабли парусами.

Забелела гавань.

Дмитриев провожал Сабакина.

— Роман Михайлович, — сказал механик, — коли Кулибина Ивана Петровича увидите, то ему поклонитесь, скажите, что благодарен я очень за его неоставление. Мосты разные в Англии смотреть буду, механике и математике учиться и приеду сюда помогать через Неву его мост ставить в один пролет — стосорокасаженный. Да он, небось, без меня поставит.

— Люди говорят — поставит.

Вдали дымила огненная машина, и дым подымался в небо.

Утро пришло с туманом, с тучей, как будто слегка задымленное.

Крутели в море надутые ветром паруса.

Сабакин взошел на высокую желтую палубу «Авроры».

На корме негромко закричали по-английски.

С причала побежал новый канат и, плюхнув в воду, прочертил по ней пенный след.

Грудь корабля приподняла воду.

Медленно отошел корабль.

Дмитриев махал картузом с пристани.

Отплывал Кронштадт; за ним голубел дальний берег.

Уплывали невысокие дома, тонули в воде.

Тонули в воде дома, церкви; вот только шпиль Андреевского собора над водой, потом только крест остался золотой искрой, вот только дым остался от Кронштадта.

Дым и память о Дмитриеве.

Скрипели мачты.

Белые чайки привязались лететь за золоченой кормой.

Они летели, сверкали в неярком свете, как обрезки жести.

«И что их держит? — думал Сабакин. — Вот парус, вот крыло — а кто разгадает полет?»

Вдали тонул в море дым.

Шел корабль туда, к Уатту, в Англию; уходил от России Курганова, Дмитриева, Ползунова, Кулибина.

Корабль шел вдоль южного берега залива. Невысокие бугры вдали; синеет за ними хвойный лес.

Нагруженный ладно железом, шел корабль.

Чуть обозначился скат палубы в береговую сторону: корабль шел в полветра. Берег становился круче и утесистее.

Ширело море, уходил берег.

Подымалась волна, свежел ветер, кругом все голубело. Море все взяло, все наполнил звук корабля: гудение паруса, скрип мачты.

Вдали росли и клонились в море неяркие цветы попутных кораблей.

Шли корабли, и предчувствие морской болезни сменило у Сабакина тоску расставанья.

⊹•⊹

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

в которой рассказывается о городе Лондоне и русском после графе Воронцове





Лондон имел вид полумесяца, лежал на левом берегу Темзы, в двадцати милях от моря. Это был один из люднейших, суматошливейших и печальных городов света.

Говорили, что каждый сотый человек в Лондоне — вор. Двадцать человек на сотню жили не плохо; остальные посредственно или бедственно.

План Лондона — образец неправильности. Этот порок общ всем старым городам, но Лондон и в этом их превосходит.

Как все старые города, Лондон часто горел.

Но особенность его в том, что после пожаров вычерненный пятнами Лондон восстанавливался столь же неправильно.

В 1780 году город восстал.

Восстание подняли подмастерья, недовольные тем, что им почти невозможно стало превращаться в мастеров.

Заменялись мастерские ремесленников мануфактурными заведениями, в которых рядом сидели сотни и

тысячи людей, производя работу, разделенную на части.

Немногие мастера сами делались владельцами мануфактур и сажали за станки женщин и ребят, многие становились рабочими и начинали голодать.

Лондон восстал: громили лондонцы тюрьмы, мануфактуры и дома католиков.

Восстание было легко подавлено. Несколько десятков человек из числа восставших повесили.

Перед смертью за сутки им каждые полчаса напоминали о казни и даже будили для этого ночью.

На черных горелых местах снова построили дома; может быть, только больше стало каменных и меньше деревянных домов в Лондоне.

Кирпич новых домов скоро закоптел.

Такого пожара жители больше не ждали; в городе построили водопровод.

В случае пожара на улице можно пожарную трубу присоединить к водопроводной.

В Лондоне ни один обыватель из своего дома или кухни не выходит за водой ни на какую потребу: он даже платье дома моет, потому что от огненных машин по всем улицам и переулкам, даже которые на горе построены, проложены большие трубы, а от тех больших деревянных труб идут малые свинцовые в дома, в кухни.

Впрочем, вода в Лондоне нехороша: ее качают из Темзы.

Темза покрыта кораблями, приплывающими сюда со всего света.

На берегу Темзы стоит Вульвич, где делают оружие и строят корабли.

В бараках на дворе мальчики занимаются набивкой патронов: это военная мануфактура.

Один делает из бумаги патрон, другой кладет в патрон пыж, третий сверх пыжа — пулю, четвертый сыплет в патрон порох, следующий завязывает, последний смазывает патрон жиром.

Мелькают и шелестят детские руки.

Англия вооружается. Англии вооружаться надо, чтобы наверстать американскую свою потерю.

По всему миру идут английские корабли.

Надо ввозить из Индии хлопок, надо везти из Англии шерстяную материю, каменный уголь и разные железные изделия.

Раньше Англия торговала шерстью, канифолью, конским волосом, гвоздями, пивом, красками, мылом, оловом. Теперь она стала торговать разной мануфактурой.

Торговала Англия и рабами — строила для этого специальные корабли с многими палубами-этажами.

В самой Англии рабов нет: здесь работают на мануфактурах бедняки.

Англия меняется: рубятся вязы в поместьях — дерево в цене, и деньги должны работать.

Сохнут яблони в деревнях — недосуг разоренным фермерам о них заботиться.

Но Темза пестрит кораблями, воздух над нею перечерчен вантами мачт, расцвечен красными флагами, углы которых перечеркнуты синим английским крестом.

Сама Темза пестра, потому что на берегах ее — красильни и другие фабрики, спускающие сточные воды в реку: вода отливается радугой.

Вот почему и вода в лондонском водопроводе нехороша.

В реке Темзе только угри могут жить: прочая рыба сдохла.

Через Темзу уже лет пятьсот перекинут мост со сплошными высокими каменными перевалами: чтобы неспособно было лондонцам прыгать в воду — к угрям.

Город Лондон богат, но жители его склонны к меланхолии.

Над городом вместо неба дымный свод на дымных столбах. Улицы похожи на пещеры, как будто выработали земляной уголь и в больших норах поставили трехэтажные дома.

Лондон мощен и местами даже метется. Метут нищие перед магазинами и на перекрестках и собирают потом за свою работу плату с прохожих в рваные свои шляпы.

Люди со всего света едут в Лондон по воде кораблями, а по земле почтовыми каретами и дилижансами.

В дилижансе, если считать пассажиров на империале и на козлах, в каждом помещается восемнадцать особ.

Более восемнадцати тысяч людей въезжает в Лондон ежедневно через его заставы, а сколько сходит с пристаней и сколько входит в него пешком!

На одной из бесчисленных улиц в северной части Лондона стоял дом — большой, но мало отличающийся от других домов. Это обыкновенный, хотя и довольно широкий, трехэтажный дом с газоном под окнами, с дубовой дверью, вымытым мрамором порога и блестящим медным кольцом двери: этим кольцом стучат, приходя.

В подвале кухня с медной, хорошо вычищенной посудой, камином, в котором горит каменный уголь, и полом, посыпанным опилками.

Под полом кухни — погреб. В первом этаже столовая с модной каменной посудой.

На второй этаж ведет узкая лестница с нишей на правой стороне. Нишу эту делают во всех домах на случай, когда надо будет выносить гроб с верхнего этажа: англичане мрачны и предусмотрительны.

Во втором этаже кабинет, а в верхнем спальня.

Кабинет обшит дубом, на полу неяркие смирнинские ковры, стол покрыт венецианским рытым бархатом; на столе два серебряных канделябра со многими свечами.

Горят только две свечи.

В комнате сыро. Туман стоит над свечами. У тумана коричневый подбой от обшитых темным деревом стен и потолка.

Перед столом сидит граф Воронцов — российский посол в Англии.

У графа Семена Романовича лицо бледное и печальное, глаза — широко расставленные, рот — большой, с красивыми губами, подбородок — хорошо вырезанный и выпуклый.

Недавно Воронцов оплешивел, — на голове его

удачно подобранная в цвет оставшихся курчавых волос накладка.

Вот таким и сидит граф в кресле перед столом, покрытым венецианским бархатом, освещен восковыми свечами.

Дела английские сложны. Господин Питт-младший Вильям, сын старшего Питта, Вильяма же, недавно принимал русского посла, и друг друга они вдоволь обманывали.

За столом дело перешло нечувствительно на занятие Крыма.

Господин Питт огорчился на силу русских, которые текут, заполняя огромный материк.

Впрочем, молодой министр был мягок и говорил больше о том, что нужно России отказаться от вооруженного нейтралитета. Пусть море останется за Англией.

Торговались и намеками рассказывали друг другу о перехваченных письмах.

Этим граф был доволен, потому что оказалось, что господин Питт распечатал письмо, в котором было написано о том, как при российском дворе почитают добродетель и превосходные таланты Питта-отца и видят с удовольствием, что и сын тем же отличается. Письмо было сочинено с приятностью, включало в себя в то же время некоторую притворную брань. Сочинено оно было для перехвата.

Впрочем, дела были благополучны, и под неопределенные обещания удержаться от защиты свободы путей почти получил граф согласие оставить без препятствия выезд из Англии директора Карронской компании шотландца Гаскойна, нужного для Олонецкого завода.

Выезд техников из Англии был в прошлом году запрещен; в запрещении была лазейка, и господин Гаскойн решил уехать на собственном корабле, что было законом не оговорено. Делу помогало то, что английские заводы как раз в это время бездействовали и Шотландия вся переживала остановку в делах.

Семен Романович сидел и соображал — то ли он

получил, что хотел, то ли получил он от господина Питта только ласковую улыбку да ненужного Англии директора. Потом он вспомнил, что господин Питт хвалил доклад механика Сабакина. Может быть, тот доклад склонил Питта к уступчивости.

Успех сего механика как бы уменьшал яркость выезда господина Гаскойна.

Граф Воронцов диктовал письмо.

Перед ним, склонив голову с длинными волосами, заплетенными в косу, сидел священник в штатском платье, он же секретарь Воронцова — отец Яков Смирнов.

У отца Якова лицо полное, спокойное, широкая борода поседела только на самом подбородке. Глаза полны непоколебимым и сытым спокойствием.

Граф диктовал:

— «Доклад господина Сабакина произошел в помещении Королевского общества в присутствии самого короля...» Вы пишете, батюшка?

— Запишу сразу, — ответил отец Яков.

Воронцов посмотрел на свои белые руки и продолжал:

— «Доклад этот необходим был для успокоения мнения общественного, возбужденного газетами. Англия любит соблюдать тайны даже в том, в чем тайн нет. Правительство английское запретило выезд в Россию славному господину Уатту, но благодаря нашим ходам разрешено было уехать господину Гаскойну, что и совершено им на собственном корабле...» Вы записали?

Отец Яков начал писать. Воронцов продолжал задумчиво:

— «Доклад Сабакина всех заинтересовал и показал, что Россия не отсталая страна и что мы не столь заинтересованы в вывозе иностранных инженеров, а потому и последовало разрешение». Что вы об этом думаете, батюшка?

— Конечно, вы правы, ваше сиятельство, но мне кажется, что господин Сабакин, никем не предупрежденный, говорил слишком откровенно, и мы, в стремлении своем получить знающего человека из Англии,

сами снабдили Англию некоторыми не лишними для нее сведениями.

— Так, батюшка, писать не надо, — сказал граф.

— Я, ваше сиятельство, вашу мысль уже уловил. Разрешите, я прочту.

Священник прочел:

—«Препровождая при сем с курьером Коновнициным рисунок машины для поднятия воды паром, изобретенной находящимся здесь русским механиком Львом Сабакиным, который в прошлом году был прислан сюда по именному ее императорского величества повелению, во-первых, доношу вашему сиятельству, что модель сей машины, им же самим сделанная из меди, была показана многим славным здешним механикам, кои все сказали, что простые столь хорошо соответствующие намерению оной правила явно доказывают, что изобретатель имеет отменную остроту и склонность к механике; второе, подобный же рисунок сей машины был представлен здешнему королю, который также им был очень доволен и сказал желание видеть модель в самом действии оной. Сей механик, несмотря на то, что ему уже за сорок лет, с неусыпным рачением прилежает к изучению аглицкого языка и начальных частей математики, нужных к чтению механических книг... Действительно, сожалеть должно, что на месте его рождения, то есть в Старице, не имел он случая получить лучшее воспитание, но со всем тем неутомимое его старание и ревностная охота к приобретению знаний в механике, кажется, уверяют, что он со временем в состоянии будет изобразить что ни на есть весьма полезное: ибо все его изобретения, как-то сия машина и другая, которую он изобрел, колотить сваи и пр., доказывают, что он более склонен к изобретению вещей полезных, нежели забавных. И как ваше сиятельство... и прежде доставляли двум русским механикам[1] случай воспользоваться императорскою щедротою, то прошу покорнейше к одобрению сего, который действительно обещает пользу отечеству более еще оных, представя сей рисунок с описанием

[1] Сурнину и Леонтьеву.

ее и. в. — исходатайствовать высокомонаршее благоволение и некоторую помочь; поелику он, для лучшего изучения механики здесь, поедет в Единбург...»[1]

— Разве он едет в Эдинбург? — спросил граф

— Видите, ваше сиятельство, если он и совершил ошибку на докладе, то пускай он ее забудет. Что же касается чертежа, который мы должны приложить, то должен признаться, что его у нас украли, что и навело меня на мысль о значительности сообщения господина Сабакина.

— Что же нам делать?

— В бумаге упомянуто, что чертеж послан, — значит будем считать, что он пропал на почтовой коммуникации.

— Ну, я подписываю, батюшка, — сказал граф, осторожно обмакивая перо в чернила и поправляя белоснежный манжет, чтобы не испачкать его при писании. — А какие новости, что еще говорят?

— Удивляются в Лондоне на счастье старого знакомого вашего сиятельства — Михаила Илларионовича Кутузова, — сказал отец Яков. — Сражается он и все жив и даже новые милости получил и, вместо того чтоб устать, опять затевает ученье егерей — учит их сражаться ползая и заряжать ружья, лежа на спине.

— Ну, и что еще об этом говорят? — спросил нетерпеливо граф: он не любил слушать о чужих удачах.

— Удивляются, — продолжал отец Яков, — доблести господина Кутузова, но горячность его осуждают и не предсказывают сему бригадиру долгой жизни, впрочем считая его героем.

Граф поморщился, как будто нерасторопный служитель не во-время налил ему вина. Он был завистлив и к счастью, когда другому, а не ему оно приносило славу, хотя бы и полученную за подвиги.

— Храбрость вообще свойственна русским, — сказал граф, — и для нас она неудивительна.

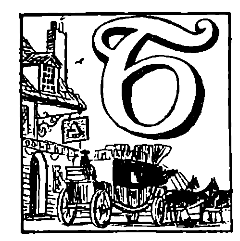
[1] Русский архив, 1879 год, книга первая, стр. 96.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В ней Лев Сабакин с империала дилижанса осматривает Англию и посещает знаменитого заводчика Болтона, а также господина Уатта—изобретателя.





атюшка Яков Смирнов, священник посольской домовой церкви, снарядил Сабакина хорошо и по-модному. Дал он ему зонтик в зеленом чехле, овчинное одеяло русской выработки, потому что ночь, может статься, будет холодная, а Сабакин ехал на верху дилижанса; дал два пистолета на случай встречи с разбойными людьми, палку толстую со стилетом, флягу оплетенную с вишневкой и гуся жареного, завернутого в бумажный картуз.

На империале рядом с механиком сидела краснолицая женщина в пестром, модном, глянцевитом, еще не стиранном ситцевом платье, с полушелковым зонтиком и с индийской, но недорогой шалью на плечах.

С империала дилижанса казалось, что вся Англия едет, перемещается и линяет. Еще недавно английские поля белели холстами, положенными на солнце, но сейчас белят материи едким составом в помещениях, и поля пусты.

Дорога бежала навстречу. Почти по пояс в облаках

пыли, проезжали верхами купцы с желтыми кожаными саками у седел, торговцы на двуколках и бесчисленные телеги.

Дилижанс быстро катился, прыгая на ухабах.

Вдали проходили фермы под вязами, показывались прореженные аллеи, ведущие к старым кирпичным замкам, и пруды, сверкавшие за высокими запрудами.

У зеркала прудов стучали сукновальные мельницы.

Шли люди по обочинам дорог, несли вещи, навесив узелки на палки, перекинутые через плечо.

Почти все поля огорожены, в деревнях много заколоченных домов.

За̀мки съели деревни, но расширились только города.

Дилижанс вбегал в города, пестрые от новых домов, останавливался у таверн.

Сабакин скромно ел своего гуся, пил из фляги вишневку, и с ним разговаривали неохотно.

Раз с империала он увидел, как идет по болотам какой-то старик в шляпе, странно надвинутой на глаза.

Старик шел и мерил дорогу, далеко отставляя от себя длинную палку и изредка нагибаясь.

Женщина в пестрой шали заговорила с Сабакиным:

— Вы иностранец, так должны удивляться: это Джон Меткаф, слепец из Нерсборо.

— Где его поводырь?

— Вы должны удивляться, — повторила дама, показывая в сторону слепца зонтиком. — Меткаф прокладывает дороги; сам он ездил без поводыря и тогда, когда еще был лошадиным барышником, а сейчас он ходит по торфяникам, подымается по крутым и каменистым склонам. Никто не понимает, как он прокладывает дороги, но дороги, которые он намечает, мистер, удобнее той, по которой мы едем... а эту дорогу имеют дерзость называть шлагбаумной. Видите, нас опять остановили на заставе.

Дилижанс остановился. Кучер откинул длинную

полу пальто, запустил толстую руку за желтое широкое, как ведро, голенище, достал истертый бумажник, раскрыл его, выгреб из бумажника мешочек с образцом овса, затем кошелек, потом неохотно вытянул из кошелька серебро.

Сторож шлагбаума не торопился и стоял, опершись спиною о бревно.

Сабакин смотрел вдаль. Слепец все шел, шагая широко, изредка нагибаясь и всаживая в землю колышки.

— Я его хорошо знаю, — сказала женщина. — Одна из дорог, которую он проложил, прошла мимо нашего дома, и муж мне купил эту шаль потому, что нам не пришлось уехать в чужой город и садиться там за станок. Наше село стало городом, и мы открыли лавку.

Дилижанс тронулся.

Кормленые лошади бежали охотно. По дороге отставали большие фуры и телеги. Дорога переходила высокими мостами через черные каналы. На каналах женщины в серых шерстяных юбках, низко наклонившись, опустив руки в коротких рукавах почти до земли, тянули тяжелые баржи, влегши в широкие лямки плоской грудью и как будто бодая воздух желтоседыми головами.

Каналы узки, и черная вода, усами подымаясь у тупого носа серых барок, тихо плескалась о берега.

Вдали показались вышки над каменноугольными шахтами, и опять черные каналы, как будто вся Англия росла и шкура ее треснула от роста и вся пошла черными полосами.

Сабакин сверху смотрел на широкие поля, на купы деревьев и дома с заколоченными окнами.

Почти все пассажиры на империале дремали, но женщина рядом не спала.

— Вы иностранец и должны удивляться, — сказала она. — Посмотрите на мое платье. Прежде мы делали материи с льняной основой, а теперь это чистая хлопчатая бумага, как будто это сделано в Индии.

Над дорогой, прямо над головой едущих на импе-

риале, прошло влажное брюхо акведука: канал с барками перекинулся через шоссе.

— Так смотрите же на материал... Скоро мы совсем не будем ввозить лен из этой России... Все изменяется, сосед... Надо итти или вверх, или вниз... Мой муж, после того как дорога прошла через нашу землю, пошел вверх, и я ношу зонтик не для дождя, а для того, чтобы не загореть. Куда вы едете?

Сабакин не ответил.

— Почему вы молчите? Человек в дороге должен быть разговорчив.

Сабакин ехал сейчас не прямо в Эдинбург. Он ехал в Бирмингам, и город приближался. Разноцветно-красные дома не лишали город мрачного вида. Над городом стояли дымы.

У пригородного шлагбаума дилижанс остановился.

Сабакин знал, что за черным каналом на пустыре лежит местность Сохо, славная мастерскими Болтона и Уатта, но надо было посмотреть и самый город.

Он слез, проверил записки отца Смирнова и решил посетить город, называя себя покупателем из Москвы.

— Москву они, может, и не знают, — сказал священник-дипломат, — но продадут, что спросишь, и в незнакомое место, и даже отца с матерью продадут, и даже подполируют продажу, чтобы покупатель не огорчился.

Улица криво вымощена, дома еще не сомкнулись, между домами свалка, на стенах одних домов — черная копоть, другие еще алы, как свежеразрубленное мясо.

Стальные изделия в Бирмингаме похожи во всем на тульские и даже несколько превосходят их прекрасной полировкой.

Так писал впоследствии Лев Сабакин в «Еженедельных известиях Вольного Экономического общества» за 1787 год в статье под № 90:

«Стальная работа здесь сперва на полированных стальных досках, кои посредством некоторых валов, колес и ремня через малое водяное колесо (или, при

высыхании оной, лошадьми) движутся, обтирается маслом и трепелем [1], потом кладется на вырезанную для сего доску, к пустоте которой вещи точно приноравливаются, и до тех пор обеими руками, которые маслом вымазаны, трется, пока они настоящий стальной лоск совершенно получат. Скважины и фигуры после нитяным мотком, намазанным мелом, вытираются и вычищаются. Смотря по работе, такая расположена и цена. Например, бывают цепочки мужских часов от девяти пенсов до гинеи».

Бирмингам славился выделкой разной галантереи, тем, что звалось в России щепетильным товаром.

Выделывали здесь также фальшивые монеты, которые звались «бирмингамскими пуговицами».

Славился город и просто пуговицами.

В пуговичной мастерской Джемса Пикера кость точила и штамповала, вращая станки, огненная машина, бристольским механиком Иоозброу поставленная. От поршня шатун шел на простой кривошип, как на точильном станке бродячего точильщика. Дело было просто до обидного.

Сабакин долго стоял перед машиной, даже нарушая вежливость.

В следующую комнату его не пустили. Вероятно, там били монету.

В Бирмингаме били монету для малых немецких княжеств, а то и просто фальшивую, так как работа по приготовлению фальшивой монеты технически не отличается от приготовления настоящей.

Дело шло к вечеру: надо итти к господину Болтону.

Господин Метью Болтон был сыном небогатого мастера.

Лет двадцать пять тому назад в Бирмингаме работало много небольших мастерских. Старик Болтон был умен, скуп и умер в середине века, оставив весьма незначительное предприятие.

Сын его придумал новый фасон стальных пряжек. Он делал их в Бирмингаме, отправлял в Париж, и

[1] Полировочный материал — инфузорная земля.

оттуда их рассылали по всему миру — как французские.

На деньги от этих пряжек построен был за каналом на севере от Бирмингама завод.

Болтон был человеком сильным, гибким и прочным. Он взялся за производство художественной бронзы, подделывая французские вещи, потом начал брать римские образцы, выписывая их из Италии прямо с раскопок, и создавать копии.

Другом его был знаменитый английский керамист Веджвуд.

Веджвуд покупал антикварные вещи, подделывал эпохи и на одной своей вазе приказал оттиснуть слова: «Искусство Этрурии возрождается» и поставить штамп: «Этрурия — Сохо».

Фальшивых монет сам Болтон не делал, считая предприятие мелким, но на фальшивомонетчиков не доносил.

Он сам сконструировал машину для битья монеты и искал для нее крупного покупателя.

На этой машине ребенок мог бить до семидесяти монет в минуту и даже девяносто, если его сильно торопить.

Но Болтону было мало этого дела: он мечтал строить машины для всего мира, он хотел крутить станки всего мира.

Был Болтон уже не молод. Высокий и несколько скошенный назад лоб его суживался напудренными кудрями парика. Глаза сидели неглубоко и смотрели жестко.

Твердый рот с четко обозначенными углами, нос, выдающийся вперед, спокойные и толстые ноздри, полные щеки, полный подбородок, опускающийся на белоснежное жабо, — все означало, что господин Болтон человек важный.

Он был другом Вильяма Гамильтона — знаменитого собирателя античных вещей, английского посла в Неаполе, куда того привели любопытство к раскопкам, ведшимся около Везувия, и дипломатические интриги.

Господин Болтон сейчас поднялся с кресел на-

встречу Льву Сабакину, улыбаясь ему твердо выгравированной улыбкой. Он был любезен, потому что присутствовал на докладе Сабакина и, кроме того, надеялся, что Россия закажет машину для штампования монет.

Большая приемная была уставлена прекрасными вещами: греческими вазами из бархатистой глины, китайским фарфором, темным веджвудским фаянсом, сине-белым и розовато-зеленым саксонским фарфором и недосягаемыми французскими вещами, которые легко подделать, но выдумку которых невозможно предусмотреть.

— Вы запылились, мистер, — сказал Болтон. — Садитесь. Ваш проект насоса со свободным поршнем — прекрасен. Мудрое всегда просто, как в механике, так и в искусстве.

Сабакин сел в модное кресло с инкрустациями из черного дерева и черепахи, совсем не простое.

Он поставил дорожные свои сапоги на ковер и смотрел на Болтона, зажав в коленях толстую трость и зонтик в зеленом чехле.

Вот Болтон, о котором с такой завистью рассказывал другой друг Уатта — Робисон, служащий петербургского адмиралтейства.

Робисон говорил, что предприниматели любят жениться на овдовевших предприятиях, то есть продолжать дела, потерявшие своих руководителей.

Болтон за десять тысяч рублей купил все опыты разорившегося доктора Ребека и Уатта, а также и все машины и все отливки. Дело казалось рискованным, но Болтон был удачлив.

Сабакин осматривал комнату. Болтон улыбнулся.

— Я не приведлив и не переборчив, — сказал он. — Англия — кузница мира. Я, кузнец и литейщик, готов работать на всю Европу и весь мир, приготовлять предметы, в которых мир нуждается, делать их из золота, из серебра, из платины, из черепахи, из меди и чугуна. Теперь, когда друг мой Уатт досоздал паровую машину, я готов вытачивать даже к каждому новолунию новые луны взамен старых, а также отливать богов для всего мира из любого материала. Я также

имею все технические средства для построения паровых машин любого размера для любого города и любого завода. — Болтон позвонил в серебряный колокольчик и, подождав минуты три, открыл дверь, ведущую на двор.

Среди замусоренного пустыря стояло приземистое строение с широко, вероятно по небрежности, открытыми воротами. Сквозь них видны были два неярко освещенных горна и небольшой токарный станок.

Станок этот был самой простой конструкции, с деревянной станиной. У него не было даже подручников — приспособления для упора руки рабочего.

Болтон сделал недовольный знак.

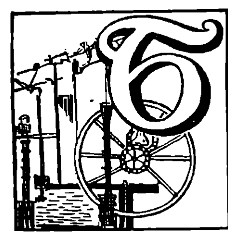
Ворота испуганно закрылись.





ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

содержащая в себе слова тех, кто в Англии подымался в то время вверх. В этой главе записаны и правдивые и хвастливые речи.



Болтон и Сабакин вышли во двор. Кроме низкого здания с горнами, в стороне стояло еще четыре сарая. Над ними возвышалось сооружение: что-то вроде бака из досок, поднятого на перекрещенные бревна.

Паровая машина, всхлипывая и задыхаясь, качала воду в бак; вода лилась оттуда на водяное колесо, от которого во все стороны бежали канатные передачи.

Навстречу Болтону шел уже немолодой человек без шапки. Лоб его был туго перевязан шелковой повязкой; над повязкой дружно начинались густые, уже поседевшие волосы. Жесткие брови над внимательными глазами, тяжелые скулы, тяжелый нос и, главное, руки, еще не отмытые от железа, пальцы, привычно сложенные так, как складывают их для держания напильника, — все это делало человека похожим на мастерового.

— Мой друг Джемс Уатт, — сказал Болтон.

Уатт протянул Сабакину жесткую руку.

Заводчик весело продолжал:

— И вот вы встретились у меня, а могли бы встретиться в Петербурге. Господин Робисон три раза звал Уатта в Россию; предлагали жалованье — тысячу фунтов стерлингов в год, но едет к вам не господин Уатт, а господин Гаскойн. Он тоже хороший механик. — Болтон засмеялся.

— Наш гость простит меня, — сказал Уатт, — если я не буду очень разговорчив. Моя мигрень сегодня празднует свой недельный юбилей.

— Войдемте в мастерскую, — попросил Сабакин.

Все вошли в невысокое здание.

Станки и машины в помещении были прикрыты, очевидно только что, мешками и скатертями.

Сабакин улыбнулся.

— Мы сохраняем так машины от пыли... Может быть, гость хочет выпить чаю? — спросил Болтон.

— Не беспокойтесь, дорогой друг, — сказал Сабакин, — и не под покрывалами в Англии я уже переглядел премножество машин. В Бирмингаме я даже изучил любопытную машину с кривошипом. Таковая машина на глазах моих превращала поршневое движение в действие вращательное. В этом я вижу многие выгоды и превеликие прибытки и удивляюсь, что на столь важной мельнице, как ваша, машины водою крутятся. Впрочем, может быть, у вас есть и другие машины, но день сегодня действительно пылен.

Болтон улыбнулся и еще вежливее сказал:

— Приспособить кривошип к паровой машине так же просто, как начать резать сыр ножом, которым резали хлеб.

— Механика, — проговорил Сабакин, — стремится к простоте, и не думайте, что я с моей стороны высказал какое недовольство тем, что от меня многое скрывают, потому что и сейчас для меня встречаются новые и удивительные вещи. Я даже имею затруднение в избрании — на которую из встречающихся машин обращать внимание, не вводя рассматриванием кого-нибудь в подозрение, сам зная, как часто под видом дружеского посещения похищают чужие секреты.

— Друг мой,— сказал ласково Болтон, — идемте

в беседку: она стоит там, где когда-то была хижина фермера, который запахивал склоны холма.

Они шли мимо шумных закрытых амбаров, в которых штамповали, сверлили, пилили, строгали. На горке зеленела увитая виноградом беседка. Стол был уже накрыт. На столе стояли хрустальные бокалы, бутылки с вином.

— Я не буду пить, — заметил Уатт. — Мигрень мне этого не позволяет.

— Мистер Сабакин, — сказал Болтон, — люди разума должны оказывать друг другу услуги. Выпейте вина. Это бордоское вино: оно пахнет фиалкой — запахом скромности и молчаливости. Должен вам также сказать, что вы напрасно были так откровенны на заседании в Королевском обществе. Имеете ли вы патент, заверенный у нас, на вашу машину?

— Нет, — ответил Сабакин.

— Я надеюсь, что вас вообще будут хорошо угощать в Англии, — продолжал Болтон, — но боюсь, что вы еще лучше угостили Англию.

— Не кажется ли вам, господа, — сказал Сабакин, — что великодушие и откровенность должны соединять людей умных и добродетельных? Мне говорили, что господин Уатт был очень небогат, а вот вы, господин Болтон, и ваши компаньоны приняли его без капитала товарищем в равную часть своих доходов.

— Вы говорите по-английски не плохо, но длинными фразами и несколько наивно, — ответил Болтон. — То, что вы сказали, нравится мне, как вещь, сделанная художником не нашего времени. В прошлом году, господин Сабакин, благодаря моему влиянию мы получили в парламенте продление нашего патента на всякого рода вращение, производимое нашей машиной. Мы будем молоть хлеб, тереть краску, вращать станки, подымать и возить тяжести, используя пар, и все это обеспечено королевским патентом.

Уатт поморщился и сказал:

— Демон коловращения овладел миром и доведет нас до сумасшедшего дома или до долговой тюрьмы. Часто мне кажется, что лучше ограничить работу машины только выкачиванием воды. Самое поднятие

корзины из шахт можно достичь, выливая выкачанную воду на мельничное колесо.

— Господин Уатт, вы должны верить Болтону, — сказал хозяин. — Нам подает кларет и холодный пунш уважаемый мастер наш Мердок, но и он, не будучи пайщиком нашего предприятия, налаживает огненную повозку для перетаскивания разных грузов и думает о том, нельзя ли газ, получаемый при изготовлении кокса, использовать для освещения. Господин Уатт, хлеб надо сеять, товаром надо торговать, художественные вещи надо производить штампом, корабли не должны стоять на причале, а патенты надо использовать до конца.

Уатт потрогал шелковую повязку на лбу.

— Мистер Сабакин, головная боль меня истощила. Мы с вами оба часовщики и мастера инструментов — люди ремесла. Не думайте, что под скатертями скрыты великие тайны; там только станки, довольно плохо работающие: мы еще не умеем обрабатывать сталь. О, если бы было достаточно только изобретать!.. Я начал с того, что взялся починить модель машины Ньюкомена: модель работала хуже, чем те машины, которые я знал в деле.

— Это зависело от субтильности сложения механизма, от большого охлаждения при уменьшении диаметра цилиндра, — заметил Сабакин.

— Да, вы правы, я посоветовался с господином Робисоном. Он мне сказал не много. Я пошел сам, пошел, ведомый чутьем механика. Вы слыхали, может быть, про великого слепца, который прокладывает дороги у нас в Англии?

— Да, я видел его.

— Вам повезло. И я работал, как слепой. Усталый от бесплодия мыслей, измученный так, как не устает поденщик, я брел однажды по улице Глазго, опустив голову; лицо мое обдало паром: пар валил из подвала. Там была прачечная. На холоде пар сгущался. Тогда я решил: надо пар выпускать из какого ни на есть отверстия в цилиндре, а не охлаждать в самом цилиндре, потому что, охлаждая пар в цилиндре, мы охлаждали и сам цилиндр, теряя теплоту, а не

превращая ее в силу. И тогда я побежал весело домой, у меня открылись глаза.

Болтон уже выпил и был весел.

— Так рассказываем мы, — сказал он, — когда берем патент. А на самом деле мы побежали домой и начали читать книги. Обо всем этом уже было написано, об этом говорилось в университете. Вы не надуете господина Сабакина.

— Они не поверили, — сказал Уатт, — а я поверил. И не сердитесь, господин Болтон, я рассказываю это иностранцу, чтобы ему понятно было, как трудно нагнать нас.

— Садитесь, мастер Мердок, — сказал Болтон, — садитесь, Вильям, садитесь, строитель мельниц. Мы все тут друг друга стоим. Чокайтесь со мной и с господином Сабакиным. Выпьемте за удачу, господин Сабакин. В прошлом году мы были накануне разорения, я вложил все в дело, но устоял в то время, когда закрывались другие заводы и лопались банки.

Мердок, немолодой бритолицый человек, спокойно ответил:

— Но выручил нас, сэр, копировальный станок, который выдумал наш дорогой Уатт.

— Обычный пресс, — сказал Болтон, — очень похожий на старую машину типографщиков. Я попрошу принести еще бутылку коньяка.

— Блажен увидевший новое в старом, — сказал Уатт. — Я пью за ваше здоровье, Мердок. Вы умеете видеть.

— Спасибо, сэр; коньяк сейчас принесут, сэр.

Болтон продолжал:

— Но вы не правы, Уатт, когда говорите, что господин Сабакин ничего не увидел бы в станках, покрытых скатертями. Он увидал бы наши усилия, наши траты. Нам нужно пригнать поршень к цилиндру. Сперва мы удовольствовались, если между поршнем и цилиндром нельзя было просунуть монету. Я применил набивку из волос, пробки, но машина не доизобретена еще и сегодня. Пока ее нельзя делать просто и повторять, как пуговицы.

— Я больше всего, — сказал Уатт, — люблю по-

кой. Я устал делать на станках то, что на них нельзя сделать. Я вижу трудности и нахожу новые решения, но они только новый труд. А если бы мне дали волю, я бы отдыхал. Мне кажется, если бы не рука Болтона, то я бы точил что-нибудь из кости или дерева или чинил бы часы. Мне надоело думать.

— Если надоела мысль, — сказал Болтон, наливая коньяк на дно бокала, — тогда, что же, давайте выпьем за деньги Болтона. Господин Уатт без меня ушел бы прокладывать каналы. Может быть, и не он бы построил паровую машину. Господин Сабакин, родина там, где человеку хорошо. Директор Карронской компании уехал в Россию. Не хотите ли поступить ко мне и стать между мистером Мердоком и моим компаньоном Уаттом? Я знаю — вы изучаете математику.

— За столом, — ответил Сабакин, — пьют вино, но не меняют отчизну.

— Вы можете потерять удачу за хороший ответ, потому что вы сказали — нет. Но чем же я могу быть вам полезен?

— Дайте мне письмо: я хочу посмотреть глубокие шахты. Хлеб растет на черноземе, а Англия выросла на земляном угле.

— Вы получите письмо. Я дам вам письмо на шахту старого Ребека. Но вернитесь когда-нибудь к нам: в день каждого полнолуния у нас праздник. Долго ли вы пробудете в Эдинбурге?

— Года два.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

содержащая описание английского рудника конца XVIII века



Рудник, на который приехал Лев Сабакин, находился на берегу канала с черной, как будто ржавой, водой.

Слышно было мерное, знакомое Сабакину пыхтенье паро-атмосферной машины. Дым, как большое дерево, стоял над шахтой.

Испачканная угольной пылью крепкая ивовая корзина висела на вороте над черным зевом шахты. Рабочий подтянул корзину. Сабакин перешагнул через ее край. Ворот завертелся.

Небо над тверским механиком начало темнеть и суживаться; по сторонам блестели закопченные бревна шахтного сруба.

Корзина быстро опускалась. Сабакин взглянул вниз: черное дно шахты казалось уже близким.

Небо в отверстии шахты совсем потемнело. В серо-синем, как будто ночном, небе сверкала серебряно-золотая звезда.

Сабакин ждал конца спуска, но в этот момент корзина вошла в тяжелый сернистый дым. Дым подни-

мался вверх по стенам шахты, точно прилипая к бревнам сруба.

Механик закашлялся, дым и копоть охватили его. В дыму вдруг показался красный свет. Свет стремительно приближался. Корзина быстро опускалась прямо к большой груде пылающего каменного угля.

Из тьмы коридора, уходящего в сторону, показалась серая лошадь; она тащила за собой вагонетку с углем.

Лошадью правила женщина в испачканном холщовом костюме. На лице женщины сквозь слой сажи блестели глаза и зубы.

Женщина поглядела на Сабакина без любопытства и интереса. Она захватила большим крючком корзину, подтащила ее к себе и подала механику измазанную углем руку.

Сабакин вылез. Женщина надавила плечом на вагонетку, опрокинула ее и начала лопатой насыпать уголь в корзину.

Механик осмотрелся. Во все стороны шли широкие подземные улицы. По улицам были настланы доски, по доскам лошади тащили вагонетки с углем. Редкие тусклые ночники освещали темные проходы.

Слой угля в шахте был, очевидно, не менее двух аршин с четвертью. Потолок подземных ходов каменный и казался подштукатуренным.

Мимо Сабакина проходили измазанные углем люди со слюдяными фонарями. Из тьмы вышел рабочий в кожаной шапке. Сабакин протянул ему записку. Рабочий осветил бумагу фонарем, долго читал и, ничего не сказав, повел механика за собой.

Шли долго. По ходам тянуло ветром, но не вольным ветром поля, а подземным сквозняком.

Лев Фомич шел и соображал: костер на дне шахты развели для вентиляции, воздух над костром согревается, подымается вверх и создает тягу. Значит, с другой стороны шахты есть еще ствол. Глубина шахты — около девяноста сажен. Проветривать ее трудно. Но как рискованно разводить огонь в шахте с деревянным срубом! Ведь кругом уголь! До чего здесь не берегут людей!

Провожатый остановился. Сабакин вошел в подземную комнату.

В комнате стоял большой кирпичный камин; в камине горел каменный уголь.

Все было похоже на обычную английскую таверну.

За столом сидел полный человек — надзиратель.

— Чаю или пива? — спросил он.

— Я устал и отдохну, если вам надо время для того, чтобы приготовить шахту к осмотру,— ответил Лев Сабакин.

— Наша шахта готова всегда! — отвечал надзиратель. — Смотрите что угодно, у вас хорошая рекомендация. Смотрите, это одна из самых больших шахт в Англии. Уже скоро сто лет добывают из нее каменный уголь. Наши штольни подошли под море, над нами проходят корабли, которые везут вам в Россию машины.

— И везут от нас железо по бурному морю, — ответил механик.

— Своды нашей шахты выдерживают бурю, — продолжал надзиратель. — Вы можете здесь считать себя в безопасности, как будто вы осматриваете Лондон! Я вам все покажу. Но, может быть, вы сперва выпьете чаю?

— Нет, идемте.

— Сперва мы посмотрим казармы холостых, потом помещение семейных рабочих.

Рабочие шахты жили под землей. Казармы для холостых были устроены рядом с конюшней. Лошади, спокойные, почти все слепые, стояли у яслей и мирно жевали сено.

Под ногами лошадей лежала солома. Нары рабочих — чистые, но ничем не покрытые. Для семейных устроены перегородки. За перегородками стоят деревянные кровати, люльки, столы.

Все было так, как наверху, в бедной деревне, но тонуло во мгле: свечи рабочие покупали у надсмотрщика и экономили их.

Широкие улицы шахты тянулись на много верст; от них в сторону уходили низкие лазы. В лазах тоже

ползали люди, — очевидно, каменный уголь рубили лежа.

Сабакин увидел: в одном лазе полз рабочий и тащил ящик, прикрепив его к себе цепью. Он полз на четвереньках; вот он выполз, это был мальчик лет восьми.

Дорога наверх для рабочих шла по ряду лестниц с редкими площадками. Подыматься трудно. А носильщицы-девочки подымались с углем; уголь они несли за спиной в корзинах, а то, что не помещалось в корзине, глыбами клали себе на голову. Носильщицы так привыкли к грузу, что каменный уголь редко падал вниз и глыбы почти никогда никого не ранили.

Без груза редко кто подымался.

Было не холодно, но сыро и темно. Тьма была чуть-чуть разбавлена редкими огнями.

Сабакин ползал и лазил по шахте.

Надсмотрщик напомнил ему:

— Я дам вам провожатого к выходу. Надеюсь, вы всем довольны? У нас одна из самых глубоких шахт в Англии! Обратите внимание, сэр: мы ничего не берем с рабочих за то, что они живут у нас в шахте. Правда, нары и перегородки они делают сами, покупая материал у нас... Роберт, ваш провожатый, живет здесь уже сорок пять лет.

При свете камина и свечей в комнате надсмотрщика Сабакин рассмотрел своего спутника.

Это был спокойный и, очевидно, очень старый человек. Борода его казалась рыжеватой. Он шел рядом с Сабакиным спокойно, как слепая лошадь.

Путь был долог и преграждался воротами. Около каждых ворот дежурил в темноте мальчик лет девяти-десяти: по сигналу он открывал створки. Тогда навстречу дул ветер. Потом мальчик запирал створки и оставался один во тьме.

— Сколько вы зарабатываете, господин Роберт? — спросил Сабакин.

— Я старый человек, — уклончиво ответил провожатый, — и не хочу быть выброшенным на землю. Я никогда не жалуюсь.

— Разве вам не скучно и не боязно жить всегда под землей?

— Я привык. Я не боюсь... Нет, я боюсь, я боюсь остаться под открытым небом, уважаемый сэр! Я стар и сед.

— Ваша борода еще не седа, Роберт.

— Она седа, но заржавела... это след железа, сэр.

— К глубокой старости седина действительно желтеет, милый.

— Если хотите, понюхайте мою бороду, она — достопримечательность и пахнет старым железом: о ней можно потом рассказывать.

— Расскажите сейчас, пока мы идем.

— Борода моя заржавела, и жалко, что ржавчина с нее сходит. Вы иностранец и не знаете, что мы, рабочие шахт, недавно еще носили ошейники с фамилиями хозяев.

— Это, Роберт, невозможное дело.

— Я носил ошейник с восьми лет до пятидесяти девяти. Трижды менялась на нем фамилия владельцев. Ошейники носили мы все, рабочие шахты и соляных копей. Выросла, поржавела, потом поседела под ржавчиной моя борода, но господа в парламенте — это было в тысяча семьсот семьдесят пятом году — решили, что ошейники надо снять.

— Все же сообразили люди!

— Да, говорили, что люди с верху идут в ошейник неохотно, а шахтам нужно много рук. На проведение этого закона дали двенадцать лет. В соляных копях многие еще ходят в ошейниках, но меня заставили снять мое железо до срока, и меня, может быть, закопают в уголь с белой бородой.

— Значит, пришла справедливость и под землю?

— О милостивый государь мой, я боюсь господской справедливости. Человека в ошейнике нельзя было уволить из шахты. Мне холодно без ошейника, добрый господин. Нищие должны содержаться советами приходов, и мне не позволят жить наверху, где хватает своих нищих. Если все будет благополучно, меня зароют когда-нибудь здесь...

— Сколько же вы зарабатываете?

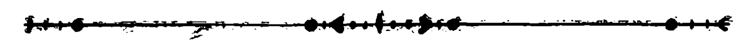
— Если вы хотите дать мне шиллинг, сэр, то дайте. Уверяю вас, что хотя я ничего не плачу за помещение, но после того, как я покупаю хлеб и сыр, я уже не боюсь потерять деньги.

Открылись ворота. На дне второй шахты серел свет. Здесь каменного угля не жгли. Этот ствол предназначался для входа свежего воздуха.

Легкая корзина приняла тверяка. Слегка качаясь, подымалась она вверх. В светлеющем небе исчезли звезды.

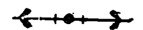
Лев Фомич заглядывал вверх. Вот показались солнечные отблески на бревнах сруба, вот оно само, солнышко, и синее небо, и как хорошо пахнет полем!

Как счастливы люди, которые живут не под землей!



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

в которой рассказывается о том, как жили в Лондоне наши старые друзья туляки





тец Яков совершал в посольской церкви богослужение, наблюдал за тем, чтобы певчие ходили чисто и пели пристойно, а также помогал по дипломатической части и, зная превосходно английский язык, делал для графа извлечения, иногда очень сложные, из английского законодательства. Кроме того, он давал советы политического свойства.

Из всех этих дел наблюдение за совестью графа было самым простым.

Семен Романович не перечил постановлениям церкви, в посты ел рыбное и грибное, по субботам ходил в церковь и занимался благотворительностью, собственноручно раздавая нищим серебряные деньги; шиллинги для этого графский камердинер специально мыл мылом.

Верен был Семен Романович и русской кухне, и для него в Лондон присылали рыжиков и груздей, соленые огурцы и паюсную икру, но березовые дрова, которые выписывал из России один из его предшест-

венников, князь Куракин,— для Воронцова в Лондон не возили.

Всем русским припасом граф Воронцов делился со священником.

Дом свой отец Яков, однако, держал по-английски и только с русскими людьми из простых, когда они к нему приходили, разрешал себе поиграть в попа-скареда, но человека добродушного, поговорить с ними откровенно.

Отец Яков волосы носил длинные, не только на улице, но и дома подкалывал их по-модному, заплетал в косу и укладывал в шелковый чехол.

Чулки любил он щегольские — шелковые, но темных цветов, башмаки открытые, легкие, с бирмингамскими стальными пряжками. Кафтан на нем шелковый и не длинный, по колено, и не пестрый, но подобранный внимательно, как тогда говорилось, в тень лица. Кафтан расстегнут, и виден камзол — солидный, бархатный. Шея отца Якова укутана белой косынкой довольно толсто.

По жилету протянута цепочка, но не модная — стальная, а толстая золотая. Цепочка вела к золотым часам с эмалью. Часы — недавний подарок графа, за выписки из морских законов.

В таком наряде был отец Яков для гостей.

Обедали дома в чистой кухне перед камином. Во главе стола сидел сам отец Яков, по правую руку его жена, православная англичанка, не говорящая по-русски, но твердо знающая все блюда русской кухни.

В тот день за столом было еще двое гостей. Они оба — наши старые знакомые туляки: Алексей Михайлович Сурнин и Яков Леонтьев, которого по отчеству еще никто никогда не называл.

Их путь в Англию был не прост.

Пока мастерам писали паспорта и ждали они разных решений, сидя на деревянных диванах в прихожих канцелярий, навигация из Кронштадта совсем кончилась. Решено было их отправить через Ригу. Начали пересоставлять бумаги — и в Рижском заливе показалось сало.

Туляки продолжали жить у протоиерея Самбор-

ского — человека образованного. Он сообщал им первые начатки английского языка, а они между делом чинили ему дом и помогали по хозяйству.

Когда вышла резолюция отправить туляков с фельдъегерем в Гданьск, а оттуда каким ни на есть кораблем в Англию, Самборский дал тулякам письмо к Якову Смирнову.

Бурным зимним морем прибыли туляки в Англию.

Английские мастера принимали русских неохотно, но взяли сперва все же по дешевке.

В России о туляках забыли и денег им не присылали.

Так продолжалось больше года.

Отец Яков ходатайствовал за мастеров у графа Воронцова. Граф Воронцов удосужился — написал письмо к тульскому наместнику господину Кречетникову.

Прислали денег, но самую малость.

Но к этому времени туляки уже обошлись. Сурнин работал у оружейника Нока и начал получать немалые деньги. Леонтьев работал у оружейника Эгга, и на прокорм ему хватало.

Работал Леонтьев хорошо, но не постоянно, и на него были жалобы.

По всему было видно, туляки зарабатывали хорошо. Они даже приносили отцу Якову поминки за то, что он разговаривал с ними о родине и кормил их щами с бараниной и черным хлебом.

Отец Яков больше любил своего тезку Леонтьева. Леонтьев приходил с утра с подарком, что-нибудь в доме чинил, помогал по хозяйству, рассказывая о том, что случилось в городе.

Сурнин тоже не приходил с пустыми руками, но держал себя строго, почти важно.

Сегодня пришел Леонтьев с большим приносом: показал он два перстенька — один для протоиерея Самборского, который жил в Петербурге, а другой самому Смирнову.

Отец Яков рассматривал оба перстня, положив их на широкую белую ладонь.

Перстни отлиты из чугуна; вместо печаток вдела-

ны в них выпуклые стекла, а под стеклом из перышков сделаны птички, размером меньше, чем половина ногтя на мизинце.

Одна птичка красная, другая — зеленая.

Отец Яков держал перстни на ладони, показывал жене и все не мог выбрать, который перстень послать и который оставить.

— Красной птичке, — сказал он, — отец протоиерей больше обрадуется, впрочем, он и зелень любит по своему тихому характеру.

— А вы, батюшка, не огорчайтесь, — молвил Яков, — мне так от вас нашу русскую речь слушать сладко, что сделаю я вам потом еще одну птичку в перстне, и будет у вас пара: и для вас и для матушки, а отцу Самборскому какую ни на есть пока птичку пошлите.

— Спасибо, Яков, большое спасибо! Так все же какую послать — зеленую или красную? И как у нас останется — две зеленых или две красных?

— Оставьте себе разноцветных, батюшка. А я отцу Самборскому сделаю желтенькую.

— Золотую! — вскричал поп. — Так она же будет всех красивее! Ты не смейся надо мной, тезка, я сам понимаю, что жаден, ибо ненасытно дно человеческого глаза.

— Я вам и желтенькую сделаю!

— Какой ты, парень, ласковый! Женить бы тебя.

— Забот боюсь, батюшка.

— Одному скучно, землячок.

— Правда, батюшка, не раз я с дороги промокал, напивался я и раз и два и десять и засыпал каждый раз в одежде, а просыпаюсь — нет на мне сапог, и стоят они около постели чищеные. Долго я сообразить не мог, как и почему ко мне приходит такая аккуратность, а потом вижу — и штаны мои вторые наутюжены и, что надо, подштопано. Это, значит, английская девка Мэри — хозяйская племянница. Девушка хорошая, дядька богатый, а она у него и в кузне молотом бьет и мехи раздувает, а когда я мелкую работу работаю — то на глаза посмотрит, то на руки.

— Я боюсь, — сказал поп, — что это чревато заботами. Ты что, место потерял?

— Потерял, батюшка.

— Как же ты это так, Яков? — сказал Сурнин. — Что, прохвастал?

— И вовсе я не прохвастал, — сказал Леонтьев. — Дело было вот как...

Отец Яков приготовился слушать, зная, что Леонтьев рассказывает интересно и долго.

— Я, батюшка, — начал Яков, — привез из Тулы клинок булатный: красного железа то есть, хорошая полоса нашей работы, завернул клинок в тряпочку чистую, пошел на рынок, купил шар костяной из слонового бивня...

— Что-то далеко рассказываешь!

— Зато, батюшка, чистосердечно, — возразил туляк и продолжал: — Полоска-то у меня с рукояткой доброй. Пришел я к самому этому оружейнику Эггу, показываю саблю, он ее, конечно, покупает.

— Дорого дал?

Леонтьев засмеялся.

— В том-то и дело, что я не отдал. Взял я табуреточку, поставил на табуреточку чашку железную, дал господину Эггу в руки шар, он и посмотрел: положил я шар в чашку, снял кафтан, засучил рукава, примерился, англичане смеются, а я как гакну! Ударил, разрубил шар, чашку, табуретку и пол испортил! Тут, конечно, они меня на службу зовут, я ту службу беру...

— Так вот почему, Яша, ты с того места, куда я тебя поставил, ушел!

— Я от Эгга не ушел, батюшка, и все хорошо было. Эгг меня кормит, Эгг меня поит, Эгг мне кафтан подает. Иду гулять — его племянница со мной, и подает мне ручку, прихожу с гулянья — уже приготовляют горячее пойло покрепче. Сам хозяин меня здешнему языку учит, вместе со мной пьет и целуется...

— Слушай, Яша, — сказал Сурнин, — ты ему секрет булата рассказал?

— Рассказал, Алеша, но невнятно. Сказал, что сам знал.

— А он тебя прогнал?

— Прогнал, Алеша... То есть не то что он меня прогнал, но сбавил он мне поденной платы вдвое, буд-

то за племянницу. Смеется, что я его английскому дому срам принес.

— Так вот откуда твои птички прилетели, — сказал отец Смирнов. — Ну, ладно, поставлю я тебя на работу: поедешь ты к берегу моря; там есть шахта глубокая, так ты на ту шахту не поступай, а рядом есть завод: будешь ты там кузнецом.

— А винты там делают?

— Гвозди бьют.

— А как бьют? — спросил Сурнин.

— Молотом — вот посмотри.

Отец Яков положил серебряную монету на стол; на правой стороне монеты был вычеканен паровой молот, на левой — выбит был портрет Джона Вилькинсона — жесткое, как будто из чугуна отлитое, лицо.

— Так же, как король, монету бьет, — с почтением сказал священник.

— И разную, — ответил Леонтьев и положил еще одну монету.

На монете была изображена цилиндросверлильная машина.

Сурнин схватился за монету.

— Это ведь вещь, Яков, — сказал он. — Ты знаешь, что здесь выбито — «мои деньги»?

— Вот видишь, Яша, ты гордишься, хвастаешь, — сказал священник, — а посмотри со вниманием, какое сейчас в Англии положение.

— Что ж, поеду, — сказал Яков, — не могу я у Эгга жить, больше он со мной не целуется. А как посмотрит на меня, смеется.

— Вот что, Яков, — сказал Смирнов, — сослужи мне службу; если будешь в Эдинбурге — это там недалеко, зайди там к одному человеку — к Сабакину Льву, о нем я тебе уже говорил. Он, небось, по русским соскучился.

— А дело какое к нему, батюшка, что вы его так помните?

— Подарил я ему шубное одеяло хорошее — из русских овчин, не то что совсем подарил — дешево продал. Пускай он мне его пришлет: сыро в Лондоне, ноги болят.

— Привезу, если отдаст, — сказал Леонтьев недовольно.

— А у тебя какое дело, Сурнин? Тоже место потерял?

— Нет, батюшка, я так пришел, по уважению. — Сурнин передал что-то завернутое в черный бумажный платок.

Отец Яков развернул платок, разгладил его на коленях, сложил аккуратно и положил в карман. Потом начал рассматривать подарок: это был кусок тяжелого ярколилового шелка.

Довольный отец Смирнов спросил:

— Итальянский, французский?

Сурнин ответил:

— Английский, батюшка, новой машинной выработки, но посмотрите, какая доброта!

Отец Яков попробовал рукою доброту ткани и сказал:

— Разве подрясник парадный сделать?

С кофейником в руках вошла матушка, жена отца Якова. Она поставила аккуратно кофейник на стол, улыбнулась, взяла шелк, перекинула его через плечо, поддрапировала, подошла к желтоватому зеркалу в серебряной раме и начала рассматривать себя очень серьезно, крепко сжав губы.

Шелк действительно шел к рыжеватым волосам нестарой англичанки.

Матушка улыбнулась, свернула шелк, достала из сумки связку ключей, подошла к высокому комоду, открыла ящик, положила в него шелк и щелкнула замком.

— Аккуратно, — сказал Сурнин, развеселившись.

Отец Яков выбирал, на кого ему обидеться: на Сурнина или на жену, но Леонтьев сумел замять неприятный разговор.

— И где же ты, Алеша, такие хорошие деньги зарабатываешь, что богатые подарки носишь?

— Подарки по дому, — сказал Сурнин.

— А все же, Алеша, где ты работаешь и какое ты в Англии ремесло перенял?

— Работаю я, Яша, дома и точу ружейные стволы для фабрики Нока.

— И зарабатываешь хорошо?

— Да, не плохо! Помнишь, Яша, когда мы были в Петербурге, ходил я на Васильевский остров в Кунсткамеру?

— Помню, и меня звал. Дело ведь не в Кунсткамере! Ведь не этим же ты деньги зарабатываешь, небось ты здесь какую-нибудь тайну узнал?

Сурнин рассердился.

— Хороший ты мастер, Яков, и из города хорошего, и сам истинный туляк, и рассказываешь хорошо, и рука у тебя верная, а пустой ты человек, и ничего ты в жизни не понимаешь. Хотел я тебе одно дело открыть, а теперь не открою!

— А почему не откроешь?

— Потому что ты пустой человек, Яша, ищешь рукавицы неизвестно где, а они у тебя за поясом!

— Не ссорьтесь, дети мои, — сказал отец Яков, постучав по столу.

Вошла хозяйка, принесла бутылку с вином, бутылку виски, кувшин горячей воды, посмотрела сердито на мужа, помня строгости английского обычая, по которому мужчины после обеда остаются пить без дам.

Отец Яков смотрел на жену торжествующе; она вздохнула, взяла со стола оба чугунных перстня, один надела на мизинец, другой на указательный палец и вышла улыбаясь.

Отец Яков нахмурился.

— А я вот не женился, — сказал Сурнин.

— Так какая же у вас, дети мои, ко мне нужда?— спросил батюшка. — А мне, Яков, третьего кольца не надо.

— Я вам замки сделаю, батюшка, — сказал Леонтьев. — Замечательный нутряной замок — стальной на медных винтах, а ключ вам.

— А ты, Яша, не женишься? Тебе бы жениться хорошо, тебя бы жена к месту привинтила.

— Винтов не люблю, батюшка, а люблю холостую компанию.

— Все я хотел тебя спросить, Яша: почему у тебя руки с перепоя не дрожат и как ты эту миниатюрность делаешь?

— Для света ставлю я графин с водой, и от него такой зайчик на работе, а сам никакого стекла в глаз не беру: у нас глаз пристрелявшись, а чтоб руки не дрожали, я старый запой утром махонькой чаркой из графинчика поправляю, и получается в руках пронзительность. Эта птичка, батюшка, из перьев сделана. Есть такая дальняя птичка — колибри, и у нее берут самое мелкое перо; в продаже это — копеечное дело, а я вяжу серебряной проволокой, и получается как финифть, и я уже Мэри подарил за ее ко мне доброту и дяде ее принесу, да еще с поклоном.

— Женишься все же, значит.

— Что вы, батюшка, она не нашей веры! Да меня уже Эгг уволил. Мне надо в дорогу собираться.

— Выпьемте, дети, — сказал отец Яков, — за то, что живем мы все-таки в этом самом городе Лондоне и видим разные диковинки, едим сытно, пьем пьяно и пируем без ссор.

— Я выпью, отец Яков, — сказал Леонтьев, — только вот Алеша начал меня задирать, а свое не договорил.

— Ах, Яша, бывают люди — им показывают, они не видят, их зовут — они не приходят. Не знают они, где надо удивляться. Ездят они за далекие моря, а своего не знают...

— Все, что мне надо, Алеша, — ответил Леонтьев, — я видел, и удивить меня нельзя. Поеду я по Англии, все посмотрю, а ты здесь сиди, и мы посмотрим, кто в конце концов кого перегонит. Посылайте меня, батюшка, куда хотите, не пропадет Яков.

— Оставайся, Яша, — сказал Сурнин, — я тебе дело найду.

— Хочу посмотреть, что здесь напридумали англичане.

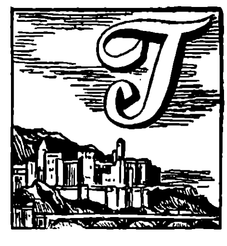
— Вот говорят: немец обезьяну выдумал, и слонялась она без дела, а туляк к обезьяне хвост пришил, и пришла она в разум и стала иногда присаживаться.

— Я, Алеша, проживу без хвоста. Ты ко мне не приставай.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

О том, как в Эдинбурге встретились Леонтьев и Сабакин





ород Эдинбург в Шотландии расположен на холмах, в трех верстах от Фордской бухты.

Лев Сабакин жил в Эдинбурге уже скоро второй год.

Помещение снимал он в южной части города. Улицы здесь узкие, дома высокие, и там, у подножья двухсотлетних домов, сыро и звонко.

На десятом этаже, в малой горнице с камином, жил Сабакин.

Окна у него были на восток, где вдали были видны замок и церкви, залив и над всем дымы заводов, а ближе густые дымы городских труб.

Казалось, что ни одно существо, кроме медного петуха на шпиле собора св. Мэри, не возвышалось так высоко над городом, как Сабакин.

У перекрестка бывает солнце, и там вдова какая-то вяжет чулок, чтобы заработать себе на скудное пропитание.

Дешева работа в Шотландии.

В узких улицах, трубя, проезжают почтальоны в

высоких сапогах, разнося радость и горе, упакованные в потертых кожаных сумках.

Сабакину из России не пишут. В России, близ города Старицы, у неширокой там Волги, живут жена и двое детей, и пора бы домой. В Петербурге, в Академии, часы астрономические не окончены, и что в Академии без него делают, и хорошо было бы поговорить со стариком механиком Кулибиным. А домой не пускают.

Глухо трубят внизу почтальоны.

Пришла раз записка от отца Якова. Начиналась она с благословения, потом задавался вопрос, где овчинное одеяло, а в конце невнятно и неодобрительно говорилось о тульском мастеровом Якове Леонтьеве.

Про отъезд в Россию ни слова.

Сабакин высовывается из окна: нет почтальона, и ждать его напрасно.

С утра въезжают в город повозки, таратайки с зеленью.

На улице чуть пошире, ветер качает жестяные панталоны; часто проходит мимо них Сабакин, читает вывеску: «Королевский панталонник».

В этом городе ложатся рано, в этом городе живут тихо, носят клетчатые плащи, обшитые мехом сумки, пестрые чулки.

В этом городе мужчины ходят в юбках и совсем без панталон.

Но английский королевский панталонник вывесил штаны как знамя.

Англия переделывает Шотландию: она отнимает у нее суды, старые обычаи; предводители горных родов перенимают обычаи английских лордов, надевают штаны и присваивают себе общинную землю. Быстро Англия переодевает и раздевает Шотландию.

В окрестностях города с гор бегут быстрые речки, на речках стоят заводы. Крутятся колеса, бьют молоты, переделывают, перековывают Шотландию.

В комнате много книг, крохотный токарный станок часовщика — без этого не проживешь.

Зарабатывает Сабакин починкой, и на стенах комнаты висят часы. Еще в комнате книги, бумага, перья, аспидная доска для вычисления и бедная кровать. На

кровати постелено овчинное одеяло. Одеяло уже протерлось.

Сабакин усидчив: сидит над книгами, сидит у станка.

Пол у станка истерт, как старая овчина.

В окнах далеко — залив, он неширокий, но оттуда приходит ветер — ветер с русской стороны.

Утро. Краснеет восток.

Сабакин открыл окно и бреется перед стеклом рамы: зеркала у него нет.

Он бреет, морщась, свою поседевшую бороду: вода холодная; бреет и смотрит вниз: красив Эдинбург, но сдавлен в нем народ, как сдавлены королевские селедки в дубовом бочонке.

Добрые селедки идут отсюда; клеймят бочонки чиновники королевским гербом, и потому шотландские селедки называются королевскими.

Надоели сельди и овсяной хлеб.

Сабакин побрился, вытер тщательно бритву. Посмотрел вниз.

По узкой улице идет угольщик с большим мешком. Сверху угольщик кажется мальчиком, а походка его знакомая какая-то: шагает он широко, не по-здешнему.

Сабакин уложил бритву и сел переводить. Он переводил книгу славного шотландца Адама Смита — здешнего уроженца, человека высокой учености; впрочем, господин Смит ушел от здешней скуки и стал ректором в Глазго.

«Законы об ученичестве, — переводил Сабакин,— к свободному переходу труда от одного промысла к другому, даже в пределах одной и той же местности, препятствуют».

«И нужно ли ученичество при мануфактуре? — подумал он. — Прав Смит — при работе, столь разделенной, в несколько часов овладевает ученик нехитрым умением. Нет уж мастера прежнего, и к благу ли это мира, еще не прояснено».

Мудра книга о богатстве народов и славны английские мануфактуры, но не благоденствуют английские работные люди, нет, беднее стал рабочий люд. Неда-

ром говорит мудрый профессор Фергусон, что Англия сделалась нацией рабов — илотов.

Тут в дверь постучали.

«Небось, принесли горячую воду для бритья, хозяйка опаздывает», — подумал Сабакин. Он не любил, чтобы в комнату его входили и трогали его вещи; все принимал у двери, не пуская в горницу. Придут, подметут, а потом спросят за уборку деньги, а денег мало.

Он открыл дверь — у порога стоял измазанный углем человек.

— Угля мне не надо, — сказал механик.

— А в горнице-то у вас холодно, — ответил по-русски человек. Вошел, закрыл за собой дверь, поставил мешок около камина и сказал: — Мне о вас батюшка Смирнов говорил, что вы человек добрый и благотворительный.

— А ты кто? — спросил Сабакин.

— Я туляк странствующий, а имя мое Яков; хожу по Англии, ищу на прожиток и попал в беду: поесть дай, земляк.

— Садись, друг, я огонь разведу. Как тебя звать по отчеству?

— А зови меня Яшей — меня так все свои звали. Работал я у моря на шахте. Глубина той шахты будет полверсты... ну, двести сажен.

— На той шахте я бывал, — ответил Сабакин. — Действительно, сильно глубока шахта: скажем, сажен девяносто.

— Ну, вот видишь, что не вру! Рядом с шахтой — завод Карронский, Вилькинсона, — точат там пушки, цилиндры для машин, молотом гвозди выбивают...

— Заработки хорошие?

— Я кузнец первой руки и могу выковать тысячу гвоздей в день, а тут при машине мальчишка какой-нибудь непонимающий бьет три тысячи! И, конечно, Вилькинсону при машине выгоднее ставить не меня, кузнеца, а мальчишку за треть платы.

— Значит, заработки плохие, — сказал Сабакин.

— Но ведь я же не только гвозди бил — я и пушки точил, хотя станки у них плоховаты.

— На Карронских заводах работать интересно, я их смотрел. Там и поучиться есть чему.

— Это меня учить? — сказал Яков. — Я же туляк, у нас какие станки! Батищевские! Ты это понимаешь? Но я бы у Вилькинсона работал, да тут произошло войне прекращение, и начали заводы закрывать и говорят всем рабочим: «Идите куда хотите, только подальше, потому что нам вас кормить без работы невыгодно».

Тут Яков прекратил свой рассказ и посмотрел на Сабакина испуганно.

— Ты меня, Яша, не бойся, мы ведь земляки. По какому ты делу пришел? Работу потерял? Так я тебе, может, работу какую и найду — мелкую.

— Я, конечно, всякую работу могу сделать, — ответил туляк: — и ружье сделаю, и колесо ошиню, и для часов если тебе что подточить надо, подточу. Только дело у меня другое. Порученьице есть у меня к тебе от отца Смирнова: спрашивает он, не отдашь ли ты ему овчину.

— Вот поповская душа! — засмеялся Сабакин. — Неужели он тебя за овчиной в такую даль послал?

— Видишь ли, Лев Фомич, — сказал Яков, — он-то, конечно, послал, а я-то, конечно, не за овчиной пришел.

— Так в чем же дело?

— Есть такой большой человек, Болтон, и купил он шахту. Купил и закрыл. Говорит, пускай так стоит. Вылезли из шахты люди, которые там, может, десять лет без света жили, сидели там в конурах подземных. Я-то работу имел, меня сохранить при шахте хотели.

— А дальше что?

— Расскажу. Окошко закрой — дует!

— Ты окна не бойся: у меня, почитай, десятый ярус.

— Закрой окошечко, дружок, это не помешает: может, соседи по ярусу любопытные.

Яков сел за стол, разломил желтоватый овсяный

хлеб, съел, запил молоком, оглянулся на окно, налил водки, выпил и только тогда сказал:

— Начал я работать каталем — работаю, работаю, и не выходит на харчи. «Плохо, — думаю, — а какое богатство кругом! Ну и место!» — думаю.

— Богатеет, говорят, Англия, — заметил Сабакин.

— Богатство, — сказал Яков, — а нам на харч не выходит. Я, конечно, гвозди в сапоги — обычная рабочая поноска. Гвоздь-то жжет, а терпишь. Наберешь гвоздей, пойдешь в горы менять. Какая там дикость — тебе я скажу! Речки бегут чистые, поля шуршат вересковые, туманы, дубы уроненные, снята с них шкура, вниз унесена мешками, а дерево гниет. Кора идет кожи дубить.

— То не хозяйство.

— Живут шотландцы — и ничего; ходят вольно: без штанов. Пиво пьют, сеют овес, меняют на гвозди. Денег-то у них и не видать, в избах живут — не столь грязно, сколь бедно, столы — дубовые, вырезано посредине вроде корыта, сыплют в то место картофель свой, да поменьше уделаны ямки в столешнице — для соли.

— Просто живут.

— Очень даже просто, серо живут. Скамейки две, да два стула, да вот стол, да котел чугунный. Земляк ты мой дорогой, и почему это жизнь вбок идет и где у народа привольная жизнь?

— Будет когда-нибудь, — сказал Сабакин.

— Будет? — переспросил Яков. — Для меня, может быть, и будет, если я исхитрюсь, только я еще не озлился.

— Так ты про себя расскажи, я про здешние места знаю.

— Вот спустился я вниз, мука у меня есть, наменял немножко. Сапожишки справил, посмотрел — как и что: чугун у них хороший, хоть и с серой немного. И льют еще дудки для огненных машин и отправляют в разные английские места, а французы ловят, да у капитанов золото есть откупаться.

— Неправдой живут люди, — сказал Сабакин, — только ты ешь.

— И продают они французам пушки, а французы из тех пушек в англичан стреляют в Америке, где, говорят, один только снег и обезьяны.

— Обезьян нет.

— Не в обезьянах дело. Я хотел рассказать, как шахты закрыли и как был от того шум. А обезьяны в Америке есть; уж больно туда далеко — должны быть.

— Нет. Да и теперь там замирились.

— Замирились и начали заводы закрывать. Закрывают и говорят: «Идите куда хотите и ешьте, говорят, или не ешьте». А уйти, милый ты человек, нельзя, потому что в ином приходе не пропишут. У них своих нищих много, а море соленое — топиться в нем плохо.

— Это безработица, Яков.

— Закрыли рудники, а там они, как бездонные, под море идут. Месяцами там люди живут без света, но с хлебом хоть. Вылезли люди, тут их солнцем и ветром ушибло, стоят черные, а им говорят: «Уходите». А куда им итти? «Нет, говорят, нам места ни на земле, ни под землей. Нынешняя петля, говорят, хуже старых железных ошейников».

— В эти дела иностранному человеку входить нельзя, — сказал Сабакин. — У нас своего горя достаточно.

— Да разве я не понимаю, да разве я сам не проживу? Только показалось мне все это, значит, не посправедливому; то ли я начал, то ли не я, — правда, не скажу, — только закричали мы и пошли на ихнего управляющего и в ихние управления: «Давай самого главного», — а нам говорят: «Самого главного у нас нет, у нас общество на паях». А я им: «Жечь тут буду все и стекла буду бить, а кто здесь хозяин — он сам закричит». И только что мы маленький огонек развели, катит на таратайке хозяин, собой красивый и ласковый, зовут Болтоном: «Братцы мои, говорит, возьмите деньги и не шумите, потому что в делах остановка, а если вы вещи наломаете, будет один вред». Дает хозяин двадцать золотых и говорит вежливо, англичане от вежливого того разговора обмякли: «Мы по-

дождем». Начали ждать; ждем день — видим снизу: дорога краснеет, и дымится и курится, и в дыму будто искра. Тут женщины ихние начали плакать, мужчины побежали в горы, а с гор видим — дорога курится, краснеет, а в пыли искры — идут солдаты, на ружьях у них штыки. Начали они тут людей забирать в королевский флот — служить на кораблях матросами.

— Есть такой закон.

— Я тут вспомнил, что у меня документ просрочен. Куда пойти, куда деться? Вижу, баржа стоит железная на якоре, от нее тень, я — в воду и за цепь держусь: когда вынырну, когда нырну. Тут ночь наступила, я по цепи поднялся и в уголь забился. Утром потащили баржу седые бабы к морю. Одни тащат, другие бабы шестами правят. Меня открыли, потому что и мне дышать нужно, но не выдали и даже покормили овсяным своим хлебом. Тянули они меня потихонечку, пока вода в ихней реке не посолонела. У моря стали ждать отлива, чтобы против волн не тащить корабль, а я мешочек угля взял, чтобы не спрашивали, за чем иду, и вот к тебе.

— Ешь селедку, Яков. А кричать тебе не надо было.

— Да разве я не знаю, да разве их и перекричишь? Хлеба ржаного, земляк, нет?

— Есть, милый, только черствый.

— Ой, дай!

Леонтьев ел, но не жадно, а вежливо, как надо есть мастеровому, который пришел в первый раз в гости. Камин разгорелся, солнце встало, начало греть стекла комнаты. Совсем потеплело.

— Я тебе тайность привез, земляк, — сказал Яков. — Дай мне бумагу, я тебе нарисую, как они делают свои пушки. Вредный народ! Они этими пушками весь мир завоюют.

— Не надо, Яков. Мы это не хуже делаем.

— Для чего же мы посланы?

— Для образца нашего уменья.

— Говорят, во французской земле простые люди бунтуют.

— Бунтуют.

— Тогда я в Париж поеду. Там меня не разыщут.

— Ты что, сразу ехать хочешь?

— А почему не сразу? Море близко, Франция, говорят, через дорогу, а в Лондон вернусь — женюсь: Мэри там есть такая сострадательная. Непременно женюсь, хоть она не нашей веры. Поезжай и ты.

— Дел у меня во Франции нет. Будешь в Париже — смотри, как они там по-новому живут.

— Думаешь, хорошо живут?

— Славны бубны за горами, — ответил Сабакин, — посмотреть надо.

— Ну что ж, помоюсь и поеду.

— Что торопишься?

— На английских кораблях военных, — сказал Леонтьев, — бьют, уча, тонкой веревкой, — с первого раза в кровь. Я до этого дела не любопытный.

— Платье я тебе дам, штаны кожаные, одеяло овчинное.

— А самому холодно не будет?

— Здесь зима легкая,— ответил Сабакин,— а тебе через море ехать.

Яков мылся долго и с наслаждением. Помывшись, он завернулся в овчину и заснул.

Проснулся он веселым и порозовевшим.

— Снилась мне, Лев Фомич, Тула. Будто звонят новые колокола на церкви Николы Заречного, идут по улице мастера в суконных кафтанах и кожаных сапогах и девки красивые. На парней смотрят и смеются.

— Считай, что этот сон к добру, — сказал Сабакин.

— Я пойду, — сказал Яков.

— Постой, я тебе записку дам, у меня корабельщики знакомые. Уходят корабли в море с приливом. Небось, уже скрипят они у берега причалами. Хорошо было бы, Яша, поехать в Россию!

— Я в Париж поеду.

— Ты хоть побрейся.

— Вот люди мученье выдумали! Но побреюсь... Хороша Франция?

— Говорят, хороша!

— Дай умоюсь, побреюсь, земляк дорогой, помолюсь и поеду во Францию. Разбегался я очень, милый человек.

В камине на углях жарилась баранина.

— Хорошо пахнет, — сказал Яков, — а хлеб ржаной еще есть?

— Есть пшеничный.

— Хорошо, — сказал Яков. — Тепло.

— Денег я тебе дам несколько, дальше ты сам добудешь, как доедешь. Только ты смотри — не загуляй, а пуще всего не заторгуйся. Если до благополучья доберешься — Тулы не забудь, в Туле мастера нужны.

— Будто и без меня не проживут, — сказал Яков, ставя баранину на стол.

— Знамо, проживут и без тебя, — мы без нее не проживем. Не проживем без Тулы, без Москвы.

— Высоко говоришь, хозяин, и правильно. Баранина, однако, стынет.

— Живу одиноко, студенты молоды, я стар, сижу дома, читаю, точу какие ни есть колесики, а больше читаю да вспоминаю про дом.

— Ну, тороплюсь я, корабли уйдут в море с отливом.

— Ешь, Яша. Соскучишься во Франции, приезжай сюда, может, будет пора домой отсюда возвращаться.

— И есть не хочется, хозяин: я пойду.

— Прощай. Так ты платок шерстяной возьми, зонтик возьми зеленый, овчину поповскую. Я тебе водки налил во флягу — в море сыро.

Сабакин вышел на лестницу со свечой.

— Не оступись, Яков, здесь круто, ступени скользкие: помои носят.

— По стенке иду, — послышалось снизу. — Прощай, Лев, не зачитывайся.

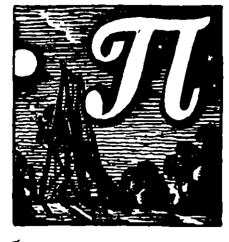
— Не поскользнись, Яков, прощай. Ищи правды, не робей!

— Прощай, отец... — донеслось снизу.

⁂

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

рассказывающая о заседании Лунного общества в Бирмингаме. На заседании этом происходит спор о первенстве в изобретениях и открытиях



олная, круглая луна стояла над Бирмингамом, освещая холм за черным каналом. Каждый камень, каждая травинка отпечатались тенью на истоптанной земле...

На дворе усадьбы стояло странное сооружение: два ряда толстых бревен, скрепленных укосинами, на бревнах сверху—вал, а к нему на корабельных блоках подвешена огромная медная труба, направленная на высокую луну. Все сооружение водружено на платформу; платформу можно поворачивать на катках.

Под трубою, которая при свете луны сверкала желто-синим блеском, был устроен балкон. На балконе стоял человек в белом парике и смотрел в тонкую трубку, которая косо пронзала бок большой трубы.

Внизу, под плодовым деревом, сам Уатт, закатав рукава белоснежной чистой рубашки, варил на углях вино с сахаром и пряностями. Около дерева стоял стол, накрытый белой скатертью. На столе сверкал хрусталь, слабо желтели лимоны и синим блеском сверкало серебро.

За столом сидели Болтон, рядом с ним — Джон Вилькинсон, знаменитый фабрикант стальных изделий, одноногий красавец Веджвуд, владелец фаянсовой мастерской, и мастер Болтона — Мердок. Рядом с Мердоком сидел Сабакин, гостем.

Все сидели здесь как равные — это было заседание Лунного общества.

— Господин Сабакин, подымитесь сюда! — сказал человек в парике с высокого балкона.

— Сейчас, господин Гершель, — ответил Сабакин, легко взбегая по скрипучей лестнице.

На дне трубы, в косо поставленном зеркале, сверкала огромная, не омраченная луна. Луна была здесь рядом, как будто более близкая, чем серебряные тарелки и веджвудский фаянс, стоявшие на столе внизу.

— Это моя луна! — сказал Гершель.

— Хороший прибор! — ответил Сабакин. — Чудесная махина! Дивно выполированное зеркало!

— Я делаю зеркала сам, — ответил Гершель. — Зеркало в четыре фута в диаметре помог мне построить добрый король Георг Третий, мы с ним земляки — ганноверцы. Он помнит наши бесплодные поля и торфяники и помог бедному соотечественнику построить сорокафутовый телескоп.

— Через эту трубу вы открыли новую планету?

— Да, и назвал ее именем Георга.

— Высокий дар! — сказал Сабакин.

— У меня неприятности, — тихо сказал Гершель. — Во Франции называют новую планету моим именем, и добрый король обижается. А другие называют ее Ураном, продолжая список языческих богов, населяющих небо.

Сабакин улыбнулся.

— Его величеству королю придется хлопотать, — сказал он, — корабли Англии не умеют плавать по небу, и трудно будет сохранить ваше небесное завоевание.

— Господа, спуститесь вниз! — закричал Болтон.

— Вы помните Ломоносова, господин Гершель? — спросил Сабакин.

— Вы правильно произносите мое имя, а то меня называют и Гарчелем и Герстелем, а во Франции — Горошелем. Неприятно иметь планету своего имени со спутанным адресом.

— Вы помните имя покойного академика Ломоносова? — повторил Сабакин.

— Вы поглядите, какая красивая луна! Господин Уатт заказал мне этот чудесный прибор. Я сам полировал зеркало, и моя дорогая сестра Каролина читала мне в это время книжку Стерна, полную сладкой грусти...

— В тысяча семьсот шестьдесят первом году, — сказал Сабакин так громко, что голос его был слышен во всем дворе, — в тысяча семьсот шестьдесят первом году, милостивые государи мои, члены Лунного комитета, Ломоносов Михаил построил новую трубу с одним вогнутым зеркалом, поставленным к оси наклонно. Длиной труба была сорок футов. Отлито было зеркало из меди, олова и цинка, и вышел добротный зеркальный металл. Мастер Колотошин с помощниками Кирюшкой и Андрюшкой то зеркало для трубы сделали и на луну смотрели, а та труба была этой, господин Гершель, поменее, но во всем такая же. Вы могли не знать о трубе господина Ломоносова, но сообщение о ней было сделано, а труба сдана, выставлена в помещениях Российской Академии наук.

— Ломоносов! Петербург! Белые медведи, споры, зависть! — сказал Гершель и открыл рот. — Посмотрите на мои зубы, мастер, — они источены гобоем. Я играл на большой черной деревянной трубе и пускал в нее свои слюни. Я давал уроки, зарабатывал деньги и смотрел в небо только по воскресеньям. Моя бедная сестра Каролина не вышла замуж, чтобы я мог построить эту трубу. За это я увидел первым в мире седьмую планету!

— Друг мой Гершель, вы великий человек, — сказал Сабакин.

— Я тоже думаю так... Я очень трудно жил и ничему не верил. Я проколол небо там, между созвездием Возничего и Близнецами, и увидал новое светило — я принял его сперва за комету.

— Мы полировали, господин Гершель, в Петербурге колеса, делали наводные трубы и окуляры, паяли, точили. Михайло Ломоносов приготовил речь в честь Петра Третьего — родственника вашего короля. Речь была напечатана по-латыни.

— Господа, — сказал Гершель, — этот человек говорит о каком-то архангельском бауэре Ломоносове, о котором я, может быть, никогда и не слыхал.

— У него кружится голова, — сказал Болтон внизу.

Лестница заскрипела.

Сабакин взглянул с высоты балкона. Гершель сердито спускался вниз, потряхивая седым париком.

Там, внизу, правее, темнел Бирмингам; краснота домов и крыш только угадывалась при свете луны. Блестели стальные полосы каналов; вдали каналы сверкали, как струны.

Какая-то птица пискнула внизу — знакомая птица. Может быть, зяблик. Только есть ли в этой Англии зяблики?

— Эй, Михайло Васильевич, — сказал Сабакин, — мы еще поспорим, — и спустился, сердито стуча ногами по лестнице.

За столом разливали по бокалам вино, которое казалось при свете луны фиолетовым.

— Итак, наш первый тост, — сказал Болтон, — за друга нашего Гершеля. Оставим споры! В нашем деле тот, кто достроит машину, кто научит людей пользоваться ею, — тот и победитель. Труба эта сделана господином Гершелем в Лондоне. Он полирует зеркала, он их продает, он их ставит, ими живет. Он — победитель!

— Мой тост? — спросил Сабакин.

— Подождите. Тост Уатта.

— Забота не оставляет меня, друзья, — сказал Уатт. — Рождаются машины, они мужают, а мы еще не умеем резать и точить металл. Машины еще не изобретены, пока точность выделки зависит от руки рабочего. Я пью за того, кто изобретет и построит машины, создающие машины, кто даст вечный бег токарному станку и избавит резец от дрожания! Я больше всего, — продолжал Уатт, — люблю свою машину, которая

сделана из олова. Да, у нее цилиндр из олова и поршень из дерева. Она была построена наспех, но еще работает. Мы умеем еще делать из металла машины. И Мердок устал делать на станках то, что на них нельзя сделать. Часто я хотел бы ограничить свою мысль, но она идет все дальше и дальше.

— Нет, господин Уатт, — воскликнул Мердок, — нет, мой дорогой господин, вы — ветер в наших парусах... Выпьем за разум, мистер Уатт!

— Нет, тост должен произнести Вилькинсон! — возразил Уатт.

— Вино слабо для нас — людей луны, людей чистого разума. Я предлагаю пить за расширение дел, за расширение границ, за вооружение кораблей, которые помогут нам торговать. Я предлагаю в честь всего этого много и весело пить.

— Вы торопитесь, — сказал Болтон. — И, кроме того, я не хочу пить с вами. Я узнал, что вы делаете и продаете наши машины на сторону и не платите мне за патент.

— А почему Уатт ваш? Может быть, и луна ваша? Вот вы наймете Гершеля, чтобы поставить на луну вашу марку!

— Не надо ссориться, — сказал Гершель. — Велите подать мне гобой!

Принесли гобой в длинном кожаном футляре, уже истертом. Гершель открыл футляр; в футляре лежал кусок замши. Астроном снял ее. Под замшей блеснули черное дерево и серебро. Гершель сложил губы и вытянул их вперед, как будто обижаясь; взял в губы мундштук гобоя; гобой запел.

Он пел так, как будто это пели дальние поля и луна.

Гершель играл хорошо. У него надувались пузырями привычные щеки. Он играл, закрыв глаза.

Это была простая шотландская мелодия.

У Лунного общества был обычай петь латинские стихи на мотив народных песен.

Веджвуд полузакрыл свои красивые глаза и запел по-латыни стихи Горация:

Много ли зим нам отмерила судьба,
Или эта — последняя, что разбивает волны
О противолежащие скалы?..

Пел Болтон. Уатт запел, глядя на губы Веджвуда: он плохо знал латынь.

Болтон налил коньяку Сабакину и сказал:

— Я слышал, как вы говорили. Вы мне нравитесь: вы умеете кусаться. Выпьем!

Сабакин выпил не поморщившись.

— Однако вы и пьете!

Голос гобоя оборвался. Гершель отнял от губ мундштук, вытер его, протер черное дерево и положил гобой в футляр.

— Спасибо, друг, — сказал Болтон Гершелю. — Мне было неприятно, что русский обидел тебя.

— Мы мирный народ, — сказал Сабакин.

— А турецкая война ваша? — спросил Вилькинсон. — А бой Кинбургский вашего Суворова? Турки не думают, что вы мирный народ, и я делаю для них пушки.

— Парламент взволнован, — прибавил Уатт, — а я спокоен. Я сделал то, что я хотел. Мой стакан полон, голова моя не болит, и я не понимаю, почему люди должны воевать.

— Но мир огромен, — сказал Гершель. — Мы взломали засовы неба. Вы слышите, господин Сабакин, я сказал — мы, я не забыл о Ломоносове, не будем спорить. Мир огромен, и любой лот, брошенный в его глубину, обогащает душу людей, будущее скажет, кто прав!

— Какая сегодня тревожная ночь! — сказал Болтон. — Почему вы все время то спорите, то миритесь? Я люблю Францию, которая хочет стереть то, что было начертано на сукне истории мелом, и хочет заново перекроить это сукно. Я за мир купца, потому что старые права аристократов — это только черновая разметка истории. Мне нужны машины, крепкие резцы, чистые отливки и покупатели во всем мире.

Луна все подымалась. Лишенные тени, вещи становились легки, и даже серебро казалось прозрачным.

— Не будем ссориться, — сказал Гершель. — Каждый из нас хорошо обрабатывает свой сад. Ваш тост,

господин Сабакин. Вы хороший друг, я хотел бы иметь такого помощника.

Сабакин налил вина.

— Друзья мои, — сказал он, — в вашей прекрасной стране слова пишутся не так, как они читаются.

— Я и сам бы написал с ошибками, если бы за меня не писал секретарь, — рассмеялся Вилькинсон.

Лев Сабакин продолжал:

— Но разве нет слов, написанных правильно? Разве слово «братство», написанное на знамени французов-революционеров, — разве это не правда? Прославим сегодня братство науки и закрепим за трубой имя учителя моего — имя Михайла Васильевича Ломоносова. Ему много недодано славы, а имя его должно быть у всех на устах.

— Это невозможно, — сказал Гершель. — Но я пью за вашего великого учителя и за ваше великое упрямство.

— Я пью за каронады! — сказал Вилькинсон. — Тяжелое ядро, выпущенное из короткой пушки, решает любой спор, поскольку этот спор происходит в море. Каин не убил бы Авеля, если бы у Авеля был флот, вооруженный каронадами.

— Я еще не кончил, — сказал Сабакин. — Если мы не выпьем за братство народов, то я пью за то, чтобы станки для обработки пушек лучше всего точили оружие в моей стране.

— Мой завод, — сказал Болтон, — перегонит Урал и Тулу. Я пью за свой завод, за прибыли во время войны, за победу, за прибыли после мира!.. Впрочем, я сам член Петербургского Вольного Экономического общества и горжусь этим.

Так пили люди в лунную ночь в городе Бирмингаме, рядом с большим телескопом, в котором отражалась полная, уже желто-красная луна.

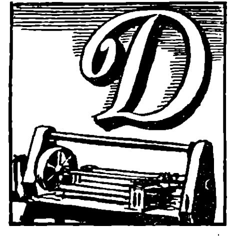
Так разговаривали люди в лунную ночь того года, когда начинались великие войны за раздел мира.

В ту ночь телескоп был похож на пушку, уже заряженную для выстрела.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,

рассказывающая о Лондоне и о великом мятеже в Париже





Доныне еще мало было в употреблении паровых машин для приведения в действие мукомольных мельниц и ткацких станков и станов для выделки железа.

У господина Болтона паровых машин покупали недостаточно, и он решил сам построить в центре Лондона паровую мельницу всем напоказ. Строили мельницу у моста.

Народ смотрел, как бьют сваи у моста.

Среди прочего люда стоял в толпе нестарый человек в длинных штанах, каких в Лондоне не носили, в широкой блузе и с мешком за плечами.

Тяжелая «баба» взлетала в воздух, падала вниз на сваю, обтянутую железным хомутом.

В толпе говорили, что новая эта машина придумана русским со смешным именем Сабакин. Человек в длинных штанах долго смотрел на машину, на Темзу — радужную и полную барок, потом поправил свой мешок и заторопился.

Яков Леонтьев явился к Сурнину в мастерскую Но-

ка, где у Сурнина была отдельная каморка, заставленная станками.

— Здравствуй, Алеша, и смотри, — сказал он, положив на верстак небольшой предмет.

Это был маленький токарный станок с приспособлением для держания резца. Резец можно было закрепить при помощи винтов в любом положении.

— Яков, здравствуй! Ты откуда? Расскажи.

— Сперва удивляться надо! — Яков взял резец и закрепил в каретке. — Ставить резец можно, — сказал он, показывая, — и так и этак, хоть косо. Посмотри, я тебе прилажу. Эта штука, Алеша, резец держит сама за мастера.

— Ты постой, Яков, расскажи, где был.

— В Париже, — сказал Яков, налаживая станочек. — Попроси, чтобы мне есть чего-нибудь подали, только к себе никого не впускай. Я тебе это для наших привез, а другое мистеру Эггу сдам — за Мэри приданое.

Яков левой рукой налаживал резец на станке, подергивая плечом.

— Да ты откуда?

— С корабля прямо к тебе, из Парижа, не отдыхая, пока не запил и пока отдавать не жалко. Только у моста постоял, посмотрел, как сваи бьют.

— А как в Париже?

— Приехал это я, — начал Леонтьев, — в Париж. Языка, значит, ихнего не понимаю. Но дело это для меня неважное. Пошел в кузницу, взял инструмент, поработал по-тульски, и меня приняли. Сперва ковал, узнал при деле железные слова, потом, как пить, есть просить и как разговаривать с мадам. Потом петь научился, и в полгода заговорил я и запел, значит, как птица, и начали даже все на меня удивляться. Сами слушают, сами смеются, сами все понимают. Понял и я, что хотят они своего короля стянуть сверху вниз или вбить в него хотя бы какой-нибудь толк... И есть у них такая тюрьма, как в Питере Петропавловская, только выше намного и в восемь башен. И в ту тюрьму людей сажают понапрасну. И говорят тут французы: «Либерите, либерите». Я понимаю — свобода. «Егали-

те» — это тоже понимаю — равенство. И говорят они еще «фратерните» — братство. Это значит — и мы с ними братья. И тут выпускают разные бумажки, на них про все напечатано, но всего не разберешь; но я к тем буквам потом пристрелялся.

Народ — свое, а король — свое. Он их гнать, а мы пошли на арсенал да на оружейные лавки. И тут я им пригодился, потому что в оружейном деле разбираюсь. А тут беспорядку было много! Нашел саблю добрую, показал, как изгороди железные ломать на пики. Пошли мы на бастильские башни. А их восемь. Восемь, и перед ними ров, а перед рвом стена и мост подъемный поднят. Вижу я, что их взять невозможно: пушки сверху стреляют.

— Дай мне тебе хоть пива налить!

— Лей. Тут народ завыл, и мы себя позабыли, — хвастать не буду, я ли или не я первый, а полезли это мы на стенку, за цепь схватились, а тут топоры да сабли, и я цепь разрубил, и мост подъемный пал с громадным стуком. Тут народ опять завыл — и во двор. А у короля швейцарцы есть — из горных народов люди купленные. Они в нас стреляют. Мы тут все, что можно, собрали, зажгли — стоим в дыму, на стены в дыму лезем и кричим. Вдруг тащат двое солдат ихнего коменданта, а мы — во второй двор и в башни: двери, конечно, выбиваем. Внизу подвалы, наверху горницы: так, ничего, уютненько, и даже огонь горит, и кровати с зелеными занавесками. Сидят там люди седые и ничего не понимают. И меня спрашивают, а я по-французски в точности не говорю. Говорю, как умею: я, мол, туляк, пришел сюда по фратерните, изволите видеть — на дворе либерите, а они меня не слушают и бегут, вещички свои тащат, а один, как я ему сказал — либерите, не понял, а начал греться, а у него в камине огонек такой маленький. Я его, конечно, за руку и на двор, а на дворе уже солома догорела, а на пике комендантова голова, и я ей говорю: «Что, старик, не хотел эгалите? — отстригли. Тем мир стоит». И был, мой милый Алеша, Париж взъерошен. Люди ходили, как пьяные, плакали и целовались. А эту самую Бастилию растаскивают на куски и кам-

ни искрошили, и я те камни вставлял в брошки. Маленькие такие камушки, а кругом, конечно, решетка филигранью. Было то, земляк, четырнадцатого июля. Не забуду никогда! Неделю ходили мы, как пьяные, и потом различать стали — одни ходят загорелые, веселые, их солнцем ожгло — то патриоты, а другие бледные — те сидели дома, значит боялись, — то аристократы. Тут притащили мы некоторых к фонарю, а в Париже не как в Лондоне — в лунные ночи фонарей не зажигают: столбы свободны. А пиво, брат, доброе!..

Ходил я там, как пьяный, любовишка у меня была небольшая, потом начал осматриваться и заскучал. Но зато набрел я там вот на этот станочек. Вижу, хозяин не очень-то дорожит этой вещью, должно, досталась она ему по дешевке, а может, и вовсе даром, ну и предложил я ему за станочек сколько мог, а в придачу еще два перстенька. Возьми на память, Алеша, чтоб знал ты, что у меня есть совесть.

— В работе станочек был?

— Нет. Только вот один, да я чертеж снял. Вот говорят, француз на случай счастлив, а случаем не пользуется. Немец случай ищет, да не видит. А английский человек случая не пропускает, да умом не дерзок.

— Так ты думаешь на этом разбогатеть?

— А то как же! Сделаю копию да от себя что добавлю для улучшения. Туляк может даже блоху подковать, если удосужится.

— Ты куда, Яша, досужий человек?

— Домой.

— Где дом-то твой?

— У Эгга все-таки, у Мэри. Мне, Алеша, в Туле не жить. Я размахался. Посмотрю на какого человека — про фонарь вспомню. По Мэри соскучился, а по Туле того больше. Только, Алеша, мне домой возврат труден. Помнишь, шумели замочные отдельщики? Меня даже генерал-майор допрашивал с боем и великими угрозами. Допрашивал по секретным пунктам...

— Забыли, небось, за эти большие годы то дело.

— Может, и забыли. Может, и поеду... А пока ты, Алеша, держись поаккуратней: ты разные науки проходил и превзошел разные ремесла. Все это знают, но

тебя не трогают, потому что получаешь ты здесь большие деньги, и думают, что ты тут останешься. А у нашей державы скоро будет со здешней державой война. А ко мне не ходи. Ты будь сам по себе, а я сам отоврусь.

— Да ты, Яша, со мной ведь едешь?

— Алеша, правильная у тебя душа! Ты, небось, всю арифметику понял. Так скажи — правильно я сделаю, если здесь останусь?

— Неправильно, Яша, только ты так не сделаешь.

— Я скопирую станочек, женюсь на Мэри, человеком стану, Алеша, — сказал Леонтьев. — Удаче моей ты не завидуй, а машинку доставь в Тулу.

— Нет, то не понадобится.

Сурнин улыбнулся, потом подошел к окну и снял со станка холст.

Под холстом был большой станок с приспособлением для держания резца.

Сурнин пустил станок и повел резец с суппортом от одного центра к другому, снимая стружку со ствола.

— Это что за колдовство? — спросил Яков.

Станок продолжал вращаться, приводимый в движение педалью.

Суппорт дошел до конца. Сурнин включил третью шестеренку и повел резец назад, центры с заключенным между ними стволом начали вращаться в противоположную сторону. Масло у масленки капало на резец, охлаждая его.

Сурнин остановил станок.

— Кто это чудо сделал? — спросил, задыхаясь, Яков.

— Сделали мы с Сабакиным Львом. На этом станке я и деньги зарабатываю — людей обгоняю, а измышлено это по нартовскому образцу: увидели мы его в Кунсткамере и додумали.

— А мне не показал!

— Да я о нем при тебе говорил сто раз.

— Да это ты один удумал! Я про Нартова не слыхал, не то что видел!

— Нет, Яков, хвастаться не буду. Был больше чем полста лет тому назад в Питере токарь Андрей Кон-

стантинович Нартов. С Петром точил. Вот построил он станок с этой держалкой, с суппортом крестовым, а в другом станке у него каретка сама передвигалась, когда точат, а копия в Париж послана была для показа. Мы со Львом додумали здесь этот станочек. Вот и повезем в Россию.

— Вот какую ты Бастилию взял! Ай да Тула! — сказал Яков.

— Я, Яша, смотрел нартовский станок: там резец закреплен так же, как в том, который ты привез. Переделал я станок, зарабатывал на нем у англичан по двести гинеев в год, а теперь еще с Сабакиным посоветовался. Вот доделал...

— Значит, я искал рукавицы, — сказал Яков, — а они у меня за пазухой были... И что это за жизнь! Одни убытки!..

— Так вместе едем домой?

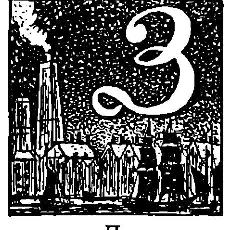
— Вместе, Алеша, только я не приеду в Тулу, как ты, с большим подарком. А ты пока, Алеша, держись поаккуратнее: ты не замечаешь, а рядом с домом твоим неведомые люди ходят.

— Едем вместе, Яша. Со станком еще работы много будет, и война, может, будет, — найдется место и для твоего умельства.

— Хороший ты человек, Алеша, верный друг! Проси ты у Воронцова, чтобы дали мне в Россию паспорт, а не то я здесь сердцем избалуюсь.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В ней описываются сборы русских мастеров на родину и отъезд Сурнина



Зима пришла с холодом, со снегом, как будто напоминая о России. Вьюги занесли дороги, стали дилижансы. Темная Темза текла среди снежных берегов.

Снег лег на медную крышу новой мельницы. Сырой, он съел лондонский туман, вымыл красные стены домов. Дым осел со снежными хлопьями.

От снега улицы Лондона как будто распестрились.

Над городом встало незнакомое высокое небо.

Семен Романович Воронцов сидел и дружески разговаривал с газетером Парадизом — человеком беловолосым и черноглазым.

Газетер Парадиз — сын англичанина и гречанки, родившийся в городе Салоники, православный со дня своего рождения, женатый на православной же англичанке, добрая овца из паствы отца Якова, подданный Северо-Американских Соединенных Штатов — не был просто наемным агентом; он сочувствовал России и революционной Франции. Последние пять месяцев он ночи не спал, сочиняя для газет разные параграфы и

памфлеты, переводя с французского на английский и с английского на французский.

Сегодня граф Семен Романович чувствовал себя приятно усталым; вчера у него была удача: он так хорошо сострил, что ему показалось, будто он даже одержал над врагом победу, но сейчас он в том сомневался.

Господин Парадиз поддерживал хорошее настроение Семена Романовича. Он рассказывал, что теперь, когда победа сопровождает российские знамена и флот адмирала Ушакова громит флот турецкий, на бирже английской говорят, что Турция не заслуживает поддержки.

Разговор перешел на собственно европейские дела. Господин Парадиз был человеком сентиментальным, со слезами на глазах он начал вспоминать парижские происшествия, самые чувствительные.

Гроб Вольтера в Париже перенесен на усыпанную цветами и древесными листьями площадь, простирающуюся там, где прежде находилась Бастилия. Среди этой знаменитой равнины, на которой еще виден остаток уничтоженного здания, выставлена надпись: «Прими, Вольтер, в сем месте, где неограниченная власть содержала тебя в узах, прими почести от своего отечества» [1].

Тело стояло всю ночь на площади среди цветов. Утром пошел дождь, но все равно собралась большая толпа. Подняли гроб; впереди пошли войска, за войсками — члены разных клубов и горожане. Несколько человек несли мраморную статую Вольтера, другие — сочинения Вольтера в золотом ковчеге.

Гроб поставили на колесницу, в которую впрягли двенадцать белых лошадей, за колесницей шли члены Национального собрания.

Господин Парадиз говорил взволнованно.

— Сладостен ветер свободы! — закричал он.

Воронцов ответил спокойно:

— Англия преградит ему дорогу. Мой милый Парадиз, вы наивны, я могу вам дать другой и новый материал для вашей статьи, и вы используете его в следующем номере.

---

[1] Вольтер сидел в Бастилии дважды.

— Использую, — сказал Парадиз недовольно, — если он направлен к свободе и добродетели.

— У меня был вчера любопытнейший разговор со шведским послом, которого лишили английской субсидии. Посол барон Нолькен, подойдя ко мне на приеме во дворце, спрашивает с тревожным видом, зачем наша галерная эскадра вышла из Кронштадта. «Для практики в гребле, — ответил я. — Галеры вооружены, и нужно, чтобы люди не ели даром хлеб...» — «Но зачем вы вооружились?» — «Затем, что вы вооружились тоже!» — «Но мы и не думаем напасть на вас». — «Мы в этом уверены потому, что на каждую вашу галеру вооружаем две своих и на каждый ваш корабль — два корабля».

— Что ответил барон?

— Вы знаете, он ответил мне с неожиданной дерзостью: «Любезный граф, есть способ нам навсегда сдружиться». — «Скажите про него». — «Вы так раскинулись, и у вас так много земель, что вы можете немного подвинуться: пусть ваш двор уступит нам Вильмантрам и Нислот, и Швеция никогда больше не будет воевать с вами». — «Вы очень скромны в ваших просьбах, барон мой, — сказал я. — Почему вы не пожелаете еще Выборга?» Барон ответил: «Я говорю не шутя: у Швеции есть общее дело с Россией — английское железо плавится на каменном угле, оно может вытеснить и шведское и русское. Это важнее городов». — «Барон, я забуду о том, что вы мне говорили. Все это ведь только шутки, а наш двор не любит шуток. Итак, все останется тайной для нашего двора».

Обратите внимание, мой дорогой Парадиз, я не обещал хранить эту тайну от английской печати. Пишите, что хотите. А если вы хотите сохранить тайну, то пускай в статье говорят друг с другом два китайца. Англичане понимают китайские разговоры, когда разговор касается английских выгод.

— Я ухожу, — сказал Парадиз. — Материал, который вы мне дали, интересен. Но, граф, напрасно вы не верите в будущий союз Франции и России. Россия будет другом свободы.

— Прощайте, мой дорогой Парадиз.

Вошел отец Яков.

— Вас господин Сурнин ждет.

— Господин?

— Сурнин Алексей Михайлович, — повторил отец Яков.

— Еще и Михайлович? Позовите Алешу.

Алексей Михайлович, хорошо одетый и спокойный, вошел.

— Ваше сиятельство, — сказал он, поклонившись,— настойчиво прошу о возвращении в Россию.

— Почтеннейший, — сказал граф, — просьба твоя не дельна. Да ты садись.

— Спасибо, ваше сиятельство.

— Друг, — сказал граф, — чем тебе плохо? Жалованья ты получаешь от хозяина своего свыше двухсот гинеев. Никто из инженеров трети того не имеет, уважение, значит, ты видишь от всех полное. О тебе скоро весь Лондон будет говорить. Да ты садись, Алексей Михайлович, что ты у дверей стоишь?

— Спасибо, — сказал Сурнин, садясь.

— Будем говорить откровенно, — сказал граф. — Такие люди, как ты, поддерживают уважение к нашей стране и мне здесь нужны.

— Ваше сиятельство, — ответил Сурнин, — где мне... Суворов наш уважение поддерживает. Я думаю, в Лондоне скоро по-русски научатся говорить.

— Ты куда же торопишься, Алексей Михайлович? Живу же я здесь и домой не прошусь!

— Ваше сиятельство, как полагаю я по чтению газет, великие будут в мире войны, и нужно будет России оружие. А я и Лев Фомич работаем по станкам, значит нам тоже дело есть.

— Что, и Сабакин пришел? — спросил граф.

— Дожидается, — ответил отец Яков.

— Куда ты, Сурнин, торопишься? — продолжал граф. — Вот, небось, Леонтьев не просится. Сидит здесь, говорят — за фабрикантову племянницу сватается...

— Яков Леонтьев вашему сиятельству челом бьет и просит слезно, чтобы пустили его в Тулу работать на родном заводе.

— Как думаешь, отец Яков, пустим в Россию Леонтьева? Его голова, его риск, а нам он здесь не нужен.

— Несамостоятельный он, ваше сиятельство, человек: скажет — соврет, вещь возьмет, самую нужную, — потеряет да еще нагрубит.

— Мастер хороший Леонтьев Яков, — сказал Сурнин, — дома он нам сгодится.

— Не докучай, сын мой, его сиятельству! — гневно сказал отец Яков. — Не пущу, и просить графа не смей! В России своих бунтовщиков много. Я ему разрешу, а скажут, что это подсыл бунтовского человека. Твой Яков во Франции мотался, Бастилию брал! Нет ему возврата!..

— Пусть будет так, отец Яков. Зови Сабакина.

Вошел Лев Фомич.

— Что вы меня все покидаете? — сказал граф. — А я вот о вас в Санкт-Петербург написал. Думаю, что скоро вам жалованье пришлют.

— Домой отпустите, ваше сиятельство, — ответил Сабакин. — Читал я, что Кулибин мост в один пролет через Неву ставит. Это, значит, сто сорок сажен. Значит, надо бить сваи. А у меня для этого машина есть. Да станки я кое-какие измыслил. Голова моя может пригодиться.

— Надо ли тебе, Сабакин, ехать? — спросил граф. — В России тебе быть не здорово.

— Ехать мне надо, ваше сиятельство, — сказал Сабакин. — Время, ваше сиятельство, смятенное, могут дороги прерваться. Мы газеты читаем. Дороговизна в Англии. Опять-таки в городе говорят, что весь товар скупают французские миллионщики, народ волнуется. Очень мне помочь хочется, ваше сиятельство, фельдмаршалу Суворову и генералу Кутузову.

— Ты, милый, осведомлен плохо!.. Генерал Кутузов более не военный генерал: он скоро едет посланником России в Константинополь. Он на мою помощь надеется, а не на твою, любезный.

— Наше дело мастеровое... Мы, ваше сиятельство, при станках... У меня машинки разные в памяти и в чертежах. А тут война, ваше сиятельство, бу-

дет: Англия с Францией воевать будут, а потом еще неизвестно — кто с кем, а нам оружие свое иметь надо.

— Я разрешение на твой въезд спрошу.

— Слезно прошу, ваше сиятельство. Детей у меня двое, детишки не совсем маленькие, надо их в школу отдавать. Открыта господином Николаем Петровичем Архаровым школа для малолетних. Боюсь, пройдут у детей лета без обучения.

— А я их тебе сюда выпишу.

— Ваше сиятельство, человек я бедный, — отпустите меня. Газету я читаю, разные мысли у меня, мне к дому надо: может быть, там машина моя будет работать.

— Слушай, Сабакин, — продолжал граф, — тебе, может, лучше здесь оставаться? Ты этому Болтону друг, ты, может быть, сам из вольнодумных людей?

— Я Болтону, ваше сиятельство, не друг.

— Ты подумай, братец. Людовик, король французский, почти под арестом сидит и подписывает то, что ему мещане подносят. Я даже в голове его не уверен, а дворяне французские его не защитят, — они сейчас к шпаге меньшую склонность имеют, чем люди из простого народа.

— О Людовике, короле французском, ваше сиятельство, мнений не имею, его дело иностранное.

— Ты, может, не знаешь про осуждение некоторых людей, неосторожно писавших. Написал человек книгу неосторожную. И вот приговорят его к четвертованию или же пошлют в Сибирь на десять лет для безысходного содержания.

— Я, ваше сиятельство, работаю по механической части и книжки пишу самые простые.

— А свою книжку «Малое здание» помнишь? Вот ты туда послал книжку о миросотворении для тиснения, а ее уж и продают.

— Книжка простая — для самых малых детей.

— И Радищев сослан за книжку, а десятилетняя ссылка в Сибирь хуже смерти для человека, имеющего детей, которых он вынужден или покинуть, или, взявши с собой, лишить воспитания и будущности,

— За мной никакой измены нет.

— Сейчас мысли боятся, дорогой мой; впрочем, поезжай. Так зачем ты едешь? Воевать, что ли?

— Войну предчувствую. Хочу машины делать, оружие.

— Ну, сговорились: поезжай, но в Москве и Петербурге жить не настаивай, держись где-нибудь в тишине при деле. Справку о тебе я дам самую добрую. Кстати, любезный, тебе сто фунтов стерлингов присланы по свидетельствованию нашему за отменные твои успехи, — сказал граф.

— Изъявляю ее величеству чувствительную благодарность. Куплю я на те деньги нужный инструмент, а ехать надо.

— Останься на год.

— Отпустите, ваше сиятельство.

— Ну, письма я пошлю через Сурнина на все адреса, а ты в Пермь, что ли, поезжай — там поживи при моих заводах.

Светлейшему князю Потемкину граф Воронцов написал с первой почтой письмо самое лестное для Сурнина. Он говорил в письме также про то, что в Лондоне все уважают туляка.

В Тулу наместнику Кречетникову граф Воронцов написал:

«...Якова Леонтьева хвалить не буду. Сей бездельник бегал во Францию и вообще ведет жизнь беспорядочную. Жизнь же Алексея Сурнина с самого его прибытия в Англию заслуживает всяческого одобрения, всегда трезв, честен и неутомим в приобретении успехов для пользы России.

Одним словом, я не могу довольно нарекомендовать Сурнина милости Вашего превосходительства, а прошу, как вы любите отечество и неусыпно стараетесь в пользу оного, не упустить сего случая доставить Сурнину способ привести в действие его знания, чем и ваше патриотическое расположение прославлено будет навсегда и отечество приобретет несказанную пользу. Прошу покорно определить к Сурнину несколько мастеров и помощников, поручить их ему в команду и дать ему способы и волю привести в достоинство свое

знание, из чего и плоды его вам видны будут. Прошу также взять его в особливое ваше покровительство, дать ему награждение таковое, которое могло бы послужить примером для тех, кто, будучи посланы вне отечества, ведут себя порядочно. Уверен, Ваше превосходительство, что оставшийся здесь бездельник Леонтьев, если бы не пропивал, мог бы вырабатывать здесь около ста гиней в год, а если бы Сурнин остался здесь, то с его трезвенностью и прилежанием легко мог бы выработать двести гиней, что на наши деньги составляет 1600 рублей. Если господин Сурнин по милости Вашего превосходительства удостоен будет надлежащего одобрения, то ни за какие деньги того купить нельзя будет, что от него в короткое время оружейники приобретут» [1].

К рекомендательным письмам были даны Сурнину письма дипломатические — самые тайные.

Сурнин взял бочонок с доброй водкой и обшил сверху суровьем. Письма он засунул под чужую бочку с селедками. Сел на корабль. Берега Темзы уходили. У маяка они уже стали невидимыми. Англия уходила в туман.

Корабль шел к северу. Слева из тумана выбелились далекие меловые скалы.

Океанская зыбь, стиснутая берегами, путано качала корабль.

Сурнин, одетый бедно, ехал внизу.

Бочонок с водкой качался и плескался под койкой.

Водку Алексей Михайлович давно не пил, а здесь, как только сел в трюм и как только началась качка, стал угощать соседей. Известно стало всем, что едет мастеровой, прогнанный с места, и пьет безмерно и в пьяном виде за всех платит и всех угощает.

Пили за Лондон, за маяк, за пролив, за ветер, за тюленей.

Качались над людьми лампы, скрипели борта.

Люди пили, целовались, пели русские, английские и даже негритянские песни.

---

[1] Цитирую из книги Зыбина С. А. «История Тульского оружейного завода». М., 1912, стр. 352—354.

Бочонок осмотрели, пока Сурнин спал, но ничего не нашли.

Тогда Сурнин подсунул под обшивку бочонка письма.

Сам Сурнин пил не мало, но аккуратно закусывал.

У Сабакина на верхней палубе уже три раза обыскивали багаж. Обыскивали сперва безрезультатно всех, будто бы ища контрабанду, потом попросили пойти обедать в кают-компанию.

Механик никуда не пошел и ночь простоял на палубе.

Ветер дул на север.

Монотонно и упорно скрипела мачта, ветер гнал корабль. Направо синел мятежный французский берег.

Полная луна висела над океаном и тянула к себе волны.

Они бежали от далекой Америки, сжимались, проходя между Великобританией и Норвегией, били о борт корабля, потом ветер и луна доводили их до берега Европы.

Думал Сабакин: как примут в Петербурге, будет ли он там бить сваи, поставит ли он под Тулой свою машину для откачки воды паром и будет ли он добывать под Тулой земляной уголь? Будут ли в России на земляном угле делать железо или будут ронять леса под Тулой, голить предгорья Урала?

Большая луна стояла в небе, тянула к себе волны и сердце.

Сабакин не уходил с палубы.

В тумане просерело бледное, как будто талое, солнце.

Низкий берег Голландии показался вдали. На берегу ветряные мельницы машут крыльями; в тумане видны длинные полосы деревьев — они растут среди болот на земле.

Путь еще далек.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

рассказывающая про город Санкт-Петербург и механика Кулибина



Кронштадте Сурнин велел доставить багаж к Мартышке и сам пошел туда.

Сабакин, умытый и прибранный, уже сидел у окна, просматривая газетный листок.

— Мартышка помер, — сказал он, положив номер газеты на стол.

Сурнин погоревал и взял прокуренные и запятнанные газеты. Новостей много: главная — та, что умер сурнинский покровитель, большой человек, его светлость князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. О смерти его сообщено после депеши стихами Михайлы Цветкова.

Из Франции сообщалось, что в Национальном собрании было заслушано обстоятельное донесение о способах к обороне и говорилось, что чужестранные державы готовят на Францию нападение.

Сабакин посмотрел газеты, переданные ему Сурниным.

В газетах много объявлений о новых книгах, о продаже домов.

— Вот объявление, — сказал Сабакин и прочел негромко: — «Из дому господина подполковника Михайлы Петровича Нарышкина, состоящего в 16-й части первого квартала под № 60, брата его родного Павла Петровича Нарышкина находящийся в оном доме крестьянин Калужской его вотчины, сельца Тина, Федосий Васильев бежал сего октября одиннадцатого числа, о чем в Управу благочиния прошение подано; который ростом два аршина семь вершков, лицом бел, рябоват, волосы на голове острижены, темнорус, борода большая, клином, от роду 53 года, и ежели он где явится и станет называться выходцем из-за границы, в том ему не верить и прислать, куда следует».

Сурнин посмотрел на газету.

— А вот еще объявление: «Бежали у статского советника Антон и Герасим Матвеевы дети, знающие российской грамоты писать и читать и играть на флейте».

— Беда, — сказал Сабакин. — Бедуют люди, хоть и не под землей живут и без ошейников. А вот это и беззаконно.

Он прочел:

— «Желающие продать мальчика не старее 12 лет могут явиться в дом князя Петра Ивановича Одоевского к живущему в сем доме немцу-перчаточнику господину Шульцу».

— Не имеет права немец покупать людей нашей веры, если он не дворянин.

— Трудновато, — сказал Сурнин.

— Трудновато... Темно... И не скажешь, Алеша, того, что сказано в сей элегии, о Потемкине написанной:

О, тьма! Ужасная тьма, скрывающа наш свет.
Как ты мучительна! Когда в тебе... Но нет,
Для света тьма нужна; тьма для того бывает,
Что, как исчезнет тьма, живее свет блистает...

— Темно, — подтвердил Сурнин.

— Что-то нам Питер скажет?

— Сговоримся.

— Обидно в газете читать, что человека продают. Я сам крестьянский сын, звали моего старика Фома, а

по отчеству его никто не звал. Бороду он тоже носил клином.

— Не ропщи, Лев Фомич! Скучно, однако, здесь в трактире без Мартына Мартыныча.

— Ну, как, половой, село на том берегу зовут еще Мартышкиным?

— А как ему еще зваться?

— А о Дмитриеве и о Борзом не слыхал?

— Толком не знаю; говорят, послали Борзого на Камчатку, к океану, строить корабли.

Всех расспрашивал Сабакин и о других мастерах; узнал наконец, что посланы они в Питер — не то на пороховой завод, не то на завод, недавно открытый Бердом. Но сказали не твердо.

— Идемте на галиот, Лев Фомич!

Галиот плыл по осенней ряби залива. В кронштадтской стороне из воды возвышалось и дымило здание огненной машины, похожее на военную шляпу с перьями.

В стороне прошла Галерная гавань со стаей низких, прижатых к воде судов.

Галиот пристал к берегу Невы около устья Фонтанки.

Сурнин и Сабакин сели на попутную телегу, погрузили свои пожитки, решили ехать ночевать на Охту к знакомому туляку.

Сурнин аккуратно поставил водочный бочонок на телегу, подоткнул его со всех сторон соломой. Положил тяжелый ящик с инструментами. Сел сам, свесив ноги.

Ехали мимо Исаакиевского моста.

Баржи моста глубоко осели в воду: через мост медленно двигалось сквозное, деревянное, многосаженное сооружение. Тянули его люди, низко нагнув белокурые головы, со спадающими вниз прядями, как будто бодая воздух.

В стороне шел спокойный человек, бородатый, длинноволосый, кругом седой и тщательно, по-старинному, одетый.

— Здравствуй, Лев.

— Здравствуйте, Иван Петрович!

— Откуда?

— С Лондона. А у вас что?

— Вот модель моста построил да испытал; везу ее на покой, как ненужную вещь.

Деревянное сооружение медленно сползало с настила моста и, подрагивая, вступало на булыжник набережной.

— А я приехал, — сказал Сабакин, — сваи под мост бить.

— Не придется.

— Что, не показалась модель?

— Выдержала она три тысячи пудов тяжести, и еще положили на нее кирпичей пудов пятьсот и разных профессоров немецких на нее налезло множество, а она и не скрипнула: значит, носить она может тягости более того, чем весит сама, в десять раз. Испытали ее хорошо: сам академик Эйлер одобрял, говорил, что наперед загадал я верно.

Сабакин посмотрел на модель.

Сооружение состояло из решетчатых ферм, сделанных из брусьев, взаимно врубленных и стянутых болтами. Видно было, что проезд — внутри модели и почти горизонтален.

— Небывалая вещь! — сказал механик. — Может, только отложили стройку?

— Строить и не будут — говорят, дорого, да и страшно: за морем не опробовано.

— Так пускай у нас пробуют.

— Пробовать чужими губами хотят, а я-то уже новый мост придумал — чугунный, тоже решетчатый.

— Куда этот везете?

— На Шпалерную улицу: там дворец покойника Потемкина. При дворце пруд: Лиговка-река запружена. Через пруд перекинут будет мост мой, на удивление лягушкам. Так и кончилось все. И ты, Алеша Сурнин, и ты, Лев Сабакин, не воюйте много: плетью обуха не перешибешь. Прощайте, ребята!

— Господин Кулибин, — возразил Сурнин, — у нас в Туле и у вас в Нижнем-Новгороде разве так говорят и так поступают?

— А как у вас поступают?

— А у нас, господин Кулибин, дерутся до послед-

него. Я сто раз подметки к сапогам подкину, на всех лестницах ступени сотру, а что придумал — на заводе попробую.

— Он молодой, Лев Фомич, — сказал Кулибин про Сурнина.

— Правильный, — ответил Сабакин.

Кулибин вытер рукавом губы и сказал:

— Так поцелуемся мы все трое тут, на улице. Не пропадет наша работа!

— Не пропадет, господин Кулибин!

Они поцеловались.

Сабакин и Сурнин сели в телегу, обернулись.

Мост издали казался легким, стройным и прочным.

Вокруг все переменилось: Нева текла в крепких стенах гранита; на диво выделанные набережные казались частями машины, сработанными на огромном станке.

Над скалою махом поднялся всадник и, простирая руку на север, возвещал о победах Петра и о торжестве искусного литейщика, отлившего изваяние.

Осенние, цвета отожженной меди, деревья Летнего сада казались через решетку такими стройными, что похоже было, будто кто-то хотел снять с деревьев копию и измерял их для этого с небывалой точностью.

— Восемь лет недаром прошли, — сказал Сабакин.

— Старика Кулибина жалко, — ответил Сурнин. — Пойду докладывать про станок свой в Коллегии. Ходьбы мне будет много.

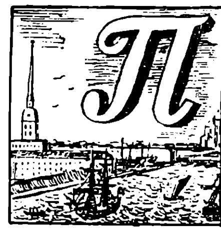
— Может, тебе, Алеша, на Коллегию денег дать? — спросил Сабакин.

— Не надо, — ответил Сурнин. Он полез в карман и достал связку чугунных перстней, нанизанных на медную проволоку. — Мне Яша на дорогу подарил перстеньки с птичками зелеными, желтыми и алыми, сказал: «Дари начальству, пускай носят, только бы твоей работе ход дали».

— Дальновидный Леонтьев парень, — улыбнулся Сабакин. — Понимает он людскую мелкость.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,

в которой кончается история Алексея Сурнина, начинается история Павла Дмитриевича Захавы и продолжается повесть о создании русского токарного станка



По приезде Алексей Сурнин не сразу отправился в Тулу, потому что был связан хлопотами с Петербургом; он начал свою работу на Сестрорецком заводе. Здесь, под начальством директора, полковника артиллерии, построил он токарные станки с одним и двумя резцами.

Станки работали хорошо. Взяли их образцом на питерские заводы.

Десятого февраля 1794 года состоялось высочайшее повеление на имя генерал-губернатора Тульского и Калужского:

«Евгений Петрович, тульского оружейного мастера Алексея Сурнина, обучавшегося с успехом в Англии и показавшего на опыте искусство свое в делании разного рода огнестрельного оружия, повелеваем определить мастером оружейного дела и надзирателем всего, до делания оружья касающегося, дав ему для обучения потребное число учеников, жалования же производить ему по пятьсот рублей в год.

Пребываем вам благосклонными Екатерина».

В том же году Сурнин был назначен надзирателем всего оружейного производства в Туле, получив чин титулярного советника.

В музее Тульского оружейного завода, расположенного на берегу старого заводского пруда, теперь покрытого зеленью, сохранились две сестрорецкие модели токарных станков; на обеих моделях — суппорты, в которых закреплены резцы.

В одной из моделей работает сразу три резца, из которых каждый снимает стружку, все более и более глубокую.

По прибытии в Тулу Сурнин сделал и другие специальные токарные станки, которые потом поступили на завод Берда для массового производства их. Английский патент на самый примитивный станок с суппортом был взят в 1795 году, несколько лет спустя после изобретения Сурнина.

Восемь или десять мастеров — тут источники разноречат — были прикреплены к Сурнину для обучения.

В Туле Сурнин показал людям новый станок и начал его усовершенствовать. Он заказал новые станки в Петербурге, у Берда.

Никто не знал, что в Туле строятся машины, которые могут решительно влиять на исход будущих битв.

Знали про другое: про то, что земля в засеках у Тулы промеряна, и оказалось ее 36 тысяч 715 десятин. Деревья в засеках по императорскому приказу были сосчитаны: оказалось их 7 миллионов 800 тысяч.

Приказано было рубить ежегодно 1/150 дубового, 1/60 кленового, 1/40 липового и осинового дерева. Всего же в год рубить 163 тысячи 721 дерево.

Сосчитано было как будто и строго, но лес сильно поредел, река Упа обмелела, и портом города Тулы стал Алексин на Оке: туда приходили баржи с уральским железом через Каму, Волгу, Оку и отсюда везли металл гужем.

В 1803 году веневский купец 3-й гильдии Федор Федорович Чеботарев починил и возвысил, чтобы сберечь весенние воды, плотину завода и получил за эту работу золотую медаль, но, впрочем, скоро после этого был уволен.

На его место, а также механиком, назначен был Павел Дмитриевич Захава, который расширил завод, ввел в него многие станки собственного изобретения и построил в Туле фабрику математических инструментов.

Менялся город: дворяне построили в Туле деревянные дома с колоннами, с фронтонами, с высокими залами для танцев и низкими комнатами для жилья.

Разбогатевший на Урале заводчик Левинцов построил в городе, недалеко от кремля, пышные каменные хоромы с парадными воротами, с дорогими наборными паркетами.

Когда умерла Екатерина, на престол вступил Павел. Он строил дворцы в Петербурге, велел красить в полосатый цвет шлагбаумы, начал разбор тульских дел, замышлял поход на Индию, но был убит в Михайловском дворце.

Говорят, что весть о его смерти появилась в английских газетах тогда, когда император еще был жив и, сидя во дворце, прикидывал на карте дорогу мимо Арала, через неведомые степи, на Индию для казаков атамана Платова.

Во всяком случае, смерть Павла произошла не без участия генерала Беннигсена — человека, с английской разведкой весьма связанного.

Англия воевала с Францией. Во Франции богатели купцы, сменялись правительства.

На лионских тканях сперва появились вытканные изображения пчел, как знаки трудолюбия, потом сменились изображением орлов, означавшим войну.

Мир воевал.

Миру нужно было много оружия.

Бледнолицый генерал Бонапарт стал императором и завоевывал земли для французских товаров. Англия воевала с ним, нанимала войска, устраивала союзы.

В России царствовал Александр.

Годы шли неспокойно. Мир попал в перепланировку.

На фабриках начинали шуметь паровые машины, но все еще токари в Англии и во Франции держали ре-

зец в руках, все еще, изготовивши ружейные части, потом при сборке пригоняли их, подтачивали напильником.

Было так и на предприятиях Джона Вилькинсона, который богател в Англии, превращая в деньги чужие изобретения и труд.

Он строил чугунные мосты, использовавши идеи многих, в том числе и идеи Кулибина; лил пушки, трубы, цилиндры для паровых машин, садовую мебель, сундуки; пытался делать из чугуна дома, заступы, игрушки, кирки, бритвы; много раз переживал кризисы и неустанно искал нового применения для металла.

Когда в 1805 году он умер, то похоронили его, согласно его завещанию, в чугунном гробу, что должно было послужить, по мысли Вилькинсона, завидным примером нового применения чугуна.

Рушились королевства, появлялись новые династии, сгинуло прусское могущество, поколебалась Австрия.

Старый Кутузов, сдерживая французов и обманывая их и отбиваясь егерями в бою под Шенграбеном, привел войска к Аустерлицу, но молодой Александр и молодой австрийский император сами командовали армиями. Старик Кутузов увидал поражение русской армии, был ранен в щеку и испытал немилость. Потом он, неохотно назначенный, сражался с турками, отступал, выжидал, накапливал силы и наносил мощные контрудары.

Так шли годы.

В 1811 году в Туле умер Алексей Сурнин.

Шло лето, созревала рожь. Было это в тысяча восемьсот двенадцатом году.

Войска Наполеона перешли русскую границу, как переходили границы иных стран.

Сходились к Смоленску русские армии; отступая, Барклай враждовал с Багратионом, атаман Платов сдерживал французов.

Разговаривая на разных языках, пестрая, как политическая карта Европы, шла разномундирная великая армия.

Шли люди в медвежьих шапках, в шапках из рыси, в касках с конскими хвостами.

Шли люди в белых и синих мундирах, в плащах.

Горел Смоленск, горели поля.

Старый Кутузов организовывал ополчение.

В Петербурге еще светлы были ночи.

Перед памятником Петру круглые сутки маршировали ополченцы. Круглые сутки работал Сестрорецкий завод.

Училось ополчение и уходило на запад, к Полоцку.

Под Москвой ночами уже было темно. Но под Можайском, в день Бородина, тьма наступила раньше ночи, и в дыму вздрагивал огонь там, где сближаются крутые берега рек Москвы и Протвы.

Что же делает Лев Фомич Сабакин?

Лев Фомич на Ижевском заводе работает — ружья делает и строит облегчающие труд станки.

Дым стоит над Ижевским заводом. Молотами куют железные доски, заваривают стволы, шустуют. Обдирают их пилами на вододействующих станках, сверлят.

Трудно Льву Фомичу в Пермской губернии. Помощник его, офицер-черноморец Захава — тот, который возил железо на тульский завод, — в Тулу уехал.

Лев Фомич один. Деньги, которые он получает, немалые — две тысячи в год, не проживает: хлеб и тот есть некогда. Ест у станков.

А главное дело — вода. Работают станки водой она их вращает. Пруд заводской большой, а если злодей Наполеон займет Тулу, — а он уже под Тулой, — куда туляки пойдут, куда машины повезут? В Ижевск. А откуда он им воду возьмет?

Правда, Лев Фомич еще в 1806 году начал насыпать плотины выше: пускай заливает деревни — переселим.

Из двух тысяч рублей Лев Фомич полторы тысячи дает на оборону; мало, но сердце не так болит.

Ах, старость, захлопывает старость книгу. Не заглянешь, что будет дальше. Неужели умрешь, не дождавшись победы?

Что Захава делает? Отчего не пишет?

Трудно в Туле Павлу Захаве, потому он и не пишет Сабакину. Туляки на север ночью смотрят, пушки помаргивают там, за Подольском.

Обидели черноморца Павла Захаву, велели ему снять морскую форму, надеть мундир коллежского секретаря. Но не до мундира сейчас. Впрочем, титулярным советником был и Сурнин. Значит, есть в этом гражданском платье свой почет, и правильно то, что дали Сурнину чин больше.

Город шумит. Через город идут войска в мундирах из неокрашенного сурового сукна, идут, приходят без ружей — уходят с ружьями.

Через город в тыл гонят скот; недавно прошли беженцы из Москвы: в каретах, на телегах, опять в каретах с разномастными лошадьми.

Шли, жаловались, пугали, шумели, прицениваясь к самоварам, продавали вещи и уходили.

Трудно в Туле. Главное — все вздорожало; правда, и заработки есть.

Тринадцать тысяч ружей в месяц делает Тула. Ружья в каждой кузнице сверлят, куют, а больше всего работают на заводе.

Но главное — вода!

Сто сорок четыре станка работают в Туле — сурнинские станки и станки Захавы. В Туле токарь резец в руках не держит, в Туле на сурнинском станке резец держит суппорт и точит ствол точно, отдельные станки точат винты, а другие станки пропиливают штыковые шейки — сразу по четыре. Шумит вода под колесами, шумят передачи, бегут приводные ремни, но воды не хватает.

Приходится станки везти на грузе: подымут груз наверх, и идет он и тянет, как гиря часы, а рабочий отойдет, зарядивши станок. Станок работает сам.

Павел Захава совсем осунулся.

Идет он по двору. Стройку кончают у Кривого моста. Вывели здание на сплошном фундаменте для паровой машины. Идет рядом с Захавой другой немолодой туляк и говорит:

— Вы, Павел Дмитриевич, не беспокойтесь. Уголь наш подмосковный вполне паровую машину поведет. Я все прознал: в Барнауле механик Ползунов паром в топку дул. Огонь совсем другой получался. Если ползуновская машина не работает, выдумка осталась. И вы, господин Захава, не беспокойтесь, еще торфу мы нарыли, насушили, а уголь у нас под ногами, в Чулковской слободе, а машина из Питера идет. С дутьем в топку дадут и нам уголек да торф жар.

— Слушай, Кривоногов, — сказал Захава, — ты уголь ищи, только знай: машина на Валдае застряла — лошадей нет, и как ее нам привезти, не знаю.

— Ай-ай-ай, господин механик, всю жизнь хотел в Туле уголек достать. Искал, искал, изголодал семью, думал — при войне нашего брата по голове некому бить будет: при войне тульская голова пригодится. Может, машину привезем народом.

— Павел Дмитриевич, — позвали Захаву, — вас генерал какой-то спрашивает, не наш, красноносый, большой, угрястый. По-нашему ругается.

— Иду.

Комната, в которой находился английский генерал Вильсон, еще не просохла, полы пахли деревом. За окном видна Упа, Кривой мост, каменные свежие набережные, железные решетки, желтеющие березы.

Вильсон, высокий, красномундирный, узкоплечий, стоял у окна.

Смотрел, улыбаясь, на двор: на дворе высилось трехэтажное здание с большими окнами. Англичанин знал — затеяно то здание для паровой машины, а паровик застрял в дороге.

Англичанин услышал шаги за спиной и обернулся: перед ним стоял нестарый человек в небогатом чиновничьем мундире.

— Здравствуйте, мистер Сурнин. Вы ведь говорите по-английски?

— Говорю, сэр, но я не Сурнин. Господин Сурнин умер. Я механик в чине десятого класса Павел Захава, из флота.

— Если бы здесь было больше людей, таких, как вы, или, лучше, если бы здесь у меня было хоть два морских лейтенанта нашего флота...

— Что бы вы делали, сэр?

— Мы бы распоряжались.

— Чем могу быть полезен? Может быть, вам лучше поговорить с генералом Вороновым, у нас распоряжается он.

— Жаль, что нет Сурнина, ему кланяется господин Леонтьев. Он совсем теперь господин. Женился. Вы молчите! Почему вы не спросите — на ком?

— Как-то не до этого...

— На племяннице фабриканта Эгга. Он фабрикант. Совсем англичанин. Может, он завтра будет баронетом!.. Ха-ха!

— Вы Леонтьеву скажите, что у нас его забыли; у нас мертвых с погоста не носят.

— Странные вы люди! Вот я мучаюсь здесь: я и в арьергардах и в авангарде. Какие плохие дороги! И зачем у вас такая странная манера так много от себя требовать! В Кронштадте лежат тридцать тысяч наших английских первосортных ружей.

— Слышал. Оружие это, господин генерал, не комплектное: оно без замков.

— Доделайте. А там, знаете, есть даже господина Леонтьева ружья. Мы — друзья России. Вот вы поедете к нам закупать, и мы купим у вас шерсть, продадим сукно.

— Я не купец, я механик, обученный во флоте, — сказал Захава. — Мне место у станков или у парусов.

— Слушайте, господин Захава, я должен вас огорчить. Наполеон будет отступать из Москвы. Разум подсказывает, что он пойдет на юг. Он пройдет здесь, через Тулу. Россия будет обезоружена. Все это будет сожжено, как сожжена Москва. Вы женаты?

— Женат.

— Передайте поклон вашей жене и скажите, чтобы она уезжала. Я уже отправил господина Луиса посмотреть дорогу. Лучше всего ехать на Одессу — чудный климат. Мы туда привезем железо.

— В Одессе нет реки, господин генерал. Чем будем вращать станки?

— Ну, они постоят. Мы завезем вам ружья.

— Между нами и Наполеоном, — сказал Захава, — русская армия, река Нара и река Ока.

— Русская армия отступила от Подольска. Я сейчас из деревни Вороново и видел господина Ростопчина. Он сжигает свой роскошный дворец: колонны и кариатиды стоят в пламени. Это очень красиво. Граф Ростопчин даже напомнил мне Нерона.

— Отстроится, — сказал Захава. — Может быть, у него другое помещение есть, или он к вам в Англию поедет. Он к вам, говорят, человек дружелюбный?

— Не будем шутить, у меня с собою предписание министра. Я хочу, чтобы вы не спорили со мной у генерала Воронова. Господин начальник завода Воронов вам поверит.

Вильсон передал Захаве бумагу. Механик прочел:

«1. Командиру Тульского оружейного завода, не останавливая работ, иметь верные сведения о движении неприятеля по направлению к Туле, дабы при достоверном и необходимом случае, уже имея секретное предписание, остановя работу, взяв мастеровых и инструмент, следовать по тракту к Ижевскому заводу.

2. Распорядиться по соглашению с Тульским губернатором о наряде для сего подвод, а равно и доставлении командиру оружейного завода сведений о положении неприятеля в губернии, различая действительные его движения от набегов мародеров, коих удобно не допускать к распространению посредством имеющегося в губернии внутреннего ополчения».

Захава бегло досмотрел бумагу.

— У нас эта бумажка давно переписана, — сказал Захава, — занесена в реестр, и мы собираем сведения, составляя из них экстракт для ответа.

— Я уже говорил с генералом. Какая медлительность здесь. Я вязну у вас!

Господин Вильсон отправился к губернатору на дом писать в Санкт-Петербург князю Горчакову жалобу и в Лондон — сообщение.

Павел Захава решил пойти на доклад к генералу Воронову.

Генерал Воронов, Николай Федорович, недавно был в Москве.

Еще цвели липы в садах и на бульварах. Москва золотоглавая, белокаменная. На мелкой реке Москве у Кремля стояли баржи и лодки. Войска шли через город.

Генерала Воронова приняли вне очереди и сказали ему:

— Усилить выделку оружия: вместо обычных шести тысяч делать в месяц по тринадцать тысяч.

Велено: «ежемесячно приготовлять в Туле на заводе ружей разного калибра: казенными мастерами семь тысяч, вольными фабрикантами три тысячи да старого ружья переделывать вольными фабрикантами три тысячи, а всего тринадцать тысяч».

И он работал, а теперь у него лежала бумага с подтверждением:

«Господину генерал-майору Воронову. По личному Вашему мне объяснению о средствах приумножения в приготовлении ружьев на Тульском оружейном заводе, предписываю вам следующее:

1. Позволяю у нового образца длину стволов обрезать на $3^{1}/_{2}$ дюйма, а штык на ту же длину прибавить и казну делать не с гранями, но круглую.

2. Позволяю вам сделать подряд у оружейников на собственных их фабриках нового оружия по 18 рублей за ружье, елико возможно более, делая оное приготовление помесячно.

3. Равным образом позволяю вам отдать также на подряд и отделку старых ружей по 10 руб. 50 коп. за каждое.

4. Требуемую сумму, по расчету, самими вами составленному, 506 758 руб. предписал я отщитать вам нынче же Московскому военному губернатору графу Ростопчину из пожертвования города Москвы.

5. На сих предположениях, по собственному вашему расчету, должно быть ежемесячно приготовлено на заводе ружейного калибра всего тринадцать тысяч.

6. Ежели же сверх оного количества во благоразумном своем распоряжении и старании вольных фабрикантов будете ежемесячно приготовлять более, то оное принято будет мною за особый знак вашего ко мне и отечеству усердия.

7. Наконец препоручаю вам объявить всем заводским мастерам и фабрикантам, имеющим свои фабрики: что никакое еще время в отечестве нашем не требовало более от каждого усердия и пожертвований, как нынешнее, следовательно я уверен, что из оных фабрикантов найдутся такие усердные сыны отечества, что целые свои фабрики обратят к одному делу оружия и тем дадут способ их имена передать в память потомству.

О ежемесячном же количестве приготовленного оружия вы обязаны мне делать особое ваше донесение так, чтобы я каждый месяц в последних числах имел оные в получении.

Александр»

— Что же мы будем делать, Захава? — сказал генерал. — Я с тобой без чинов. Делать-то что, скажи? Приказано и записано. Наполеон силен, Тула не устоит, а если пойдем — до Ижевска далеко, да и сказано было: приготовиться к переезду с благоразумной предосторожностью, чтобы не было напрасно страху и уныния.

— Вот англичанин в Одессу посылает.

— Ну и дельцы, им бы только старые ружья продать. Что же делать? Тут у меня генерал Вильсон кричал, а я втолковать ему дела не сумел. А он самого фельдмаршала ругает. Такая муха красная вредная! Ему нашей крови не жалко. А из Питера пишут надвое. Только и есть утешение, что письмо главнокомандующего. От тебя у меня секретов нет. Писал мне Михаил Илларионович седьмого сентября. Я наизусть письмо помню:

«Сообразно с принятой мною теперь операционной линией, Ваше превосходительство, можете остановиться вывозить завод, ибо Тула еще не может опасаться неприятельского нападения. Впрочем, приготовительные меры не излишни, и при перемене обстоятельств, когда Туле могло угрожение быть, о чем я не преминy Вас в свое время известить, Вы должны будете следовать данному предписанию от управляющего Военным министерством князя Горчакова». Подпись собственноручная.

— Как же это понять, ваше превосходительство?

— Я так понимаю, что всякое предписание его сиятельства князя Горчакова я, конечно, выполнить должен, после того как получу от Михаила Илларионовича извещение его о перемене обстоятельств.

— Получается, ваше превосходительство, так.

— Да вот, поезжай-ка ты в армию, узнай, что там и как там. Другим не поверю — тебе поверю. Я, конечно, знаю, что российские орлы победят, но беспокоюсь, ведь мне за Тулу отвечать. Спроси светлейшего, какие его приказания.

— Поеду, Николай Федорович. Только воду из мельничных запруд спустить.

— Жалоб будет много, голубчик.

— Воды нет, и махина паровая застряла на Валдае. Насчет воды, Николай Федорович, я сам придумал: зачем нам казенную часть гранить — оставим ее круглой, работы меньше, воду и побережем.

— Не форменно, но уже приказано.

— Облегчение станкам, надо было нам раньше сделать.

— Ну, скажем, десятую часть выиграем. А дальше что?

— Мельницы спустим на верховье реки по военному времени.

— Крику-то сколько будет, говорю: ведь сейчас самый помол.

— А спустить надо, — твердо сказал Захава. — Придет француз — все дымом пустит.

— Может, подождать, что скажет светлейший?

— Времени нет, ваше превосходительство.

— Без чинов, милый; прикажу спускать. Подумать надо: тринадцать тысяч в месяц, а тут еще пики ковать!

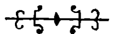
Захава вышел на улицу. Уже восемь. Вечерело. За лесом у Козловой засеки, на прогалине Ясной Поляны, гасло солнце, как горн, в котором не хватило угля.

По дороге ехали на косматых лошадях рослые казаки, а впереди них, по земле, ехали длинные тени.

Шли полки с Дона, шли с песнями, без оружия, — оружие они должны получить в Туле.

В серых рамках каменных набережных скучно голубела осенняя вода.

Со вчерашнего дня опустилась она почти на палец. Беда, коли не хватит воды!..



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,

рассказывающая о разговоре фельдмаршала Кутузова с механиком десятого класса Павлом Захавой



утузову шел шестьдесят восьмой год.

Люди, с которыми он начал жить, ушли из жизни с чинами, дарами, почестями, славой или разочарованием.

В молодости он славился искусным фехтованием и лихой ездой на коне; любил математику.

В молодости он водил полки на приступ, любил больше всего стрелковое оружие и линии егерей. Дважды он был ранен в голову. Сейчас он стариком сидел в избе села Тарутина и думал.

Он уступил Москву. Он не дал в ней сраженье: хотел сберечь город, а французы сожгли Москву. Вот ему переслали рапорт директора воспитательного дома. Москву сожгли французы по-новому: ракетами. Стреляли ракетами из пистолетов. Экий поджог обдуманный. Сгорела Москва... А он ее оставил. Она сейчас черная от огня и седая от пепла, а она верила ему, Кутузову, его седым волосам, его уму, его победам...

Эхо повторяет музыку в лесу.

Он был крив; оставшийся глаз уставал. У него была привычка закрывать его рукою.

Еще недавно увез он женщину, совсем молодую. Еще недавно от хотел так много. Сейчас он хотел сидеть, закрывши глаза руками.

Он думал; думал один за всех. Думал и должен был решать, а решивши, провести решение до конца.

Сердца его должно было хватить на решение, и надо было беречь его.

Он сидел в чисто вымытой избе. За окнами — вечер.

В дальних полках играла музыка духовая и роговая; играла согласно приказу; но вот слышны песни. Этого насильно не сделаешь. Значит, приказано было верно: войска верят победе и готовятся к ней.

По многим признакам разгадывал он состояние опытной, испробованной в бою наполеоновской армии.

Сегодня, проезжая в коляске мимо лавок и шалашей тарутинского лагеря, видел пленных в знакомых мундирах.

Голубой гусар стоял возле малинового улана, кирасир в крылатом шишаке величался подле тощего итальянского стрелка. Гвардейский артиллерист в куньей шапке с презрением глядел на вестфальца. Француз с голландцем, испанец с поляком стояли рядом. Странная смесь европейских наций в одной толпе. Сами люди дивятся своему стечению, и общее у них — командные французские слова.

Вот они прошли через весь мир до Москвы, до Кремля.

Раздавали при Кутузове им суточную порцию. Одни, будучи еще не столь голодны, неохотно приняли скудный дар, иные просто покорялись необходимости, третьи горсть муки завертывали в тряпку, как драгоценность. Иные, имея на себе мундиры, мнят себя все еще военными. Но, принимая наш паек, понимают свою участь.

По письмам и по донесениям судя, наполеоновская армия созрела для поражения, пора наступать.

Вечер; желтый лист на березах пронизан лучами солнца.

Осеннее солнце. Погода тихая, приятная, дороги сейчас сухие.

Отголоски музыки повторяются эхом из леса.

Небось, офицеры у костров сидят, на гитарах играют.

Верят седому фельдмаршалу, соразмеряя свою заботу с военною ответственностью и думая о ближайших на них лежащих делах.

Кутузов думал о Наполеоне: тот, небось, сидит за столом, думает, смотрит. Из какого московского окна он глядит?

Наполеон толстый уже человек: рано состарился. Говорят, он стал круглолицым... Привез с собою золотой ящик для мирного договора, нам позорного.

Фельдмаршал думал о Наполеоне. Похоже, мысли императора столь заняты Москвой, что потерял Бонапарт из виду все правила искусства и, оставив базис своих действий, от Смоленска армией выстрелил прямо в Москву. Это не поход, а дальний поиск — военная авантюра. Москва — только зажигательный фокус его бедствий. «Зачем он погнался целой армией за нами к Москве? Мог бы пустить Бонапарт за мною по большой дороге кавалерию с одним корпусом пехоты, самому итти сюда или на Тулу ударить, и где бы я был тогда? И отделил бы он нас от сообщения с Чичаговым...»

Темна слава баталии, и много надо спокойствия, мудрости, чтобы оценить чужую ошибку как ошибку, а не как хитрость.

«А может быть, моя хитрость тоже ошибка? А может быть, Наполеон останется в Москве или прорвется на меня, хотя я и дал ему жестокий бой у Бородина, и потряс и надломил его армию».

Александр улыбается голубыми глазами своими трусливо и в Петербурге боится. А если Беннигсен с Вильсоном заставят Александра снять его, Кутузова?..

Александр говорит, что Петербург беспокоится, а дело идет не о спокойствии, а о спасении родины, о конечном поражении кичливого врага.

«Я сижу здесь, на фланге Наполеона. Пожелтели березы, туман пошел над полями, хлеб убран. Надо не тревожить Наполеона. Притворяться слабым, нерешительным... Еще неделя, пока осыплются листья. Вчера,

когда я проезжал по лагерю, видел — птицы летели на юг, к Туле. Скоро снег, дожди, заморозки.

Я заслоняю оружейный завод в Туле, я заслоняю Брянский литейный завод, но победы не достигаются обороной... Надо вооружать новые войска, заготовлять лошадей, вооружать платовских казаков, надо готовить все для контрнаступления, преследовать Наполеона параллельно, ускорять его бег, обгонять его казаками, быть всегда впереди него... Уже третья часть армии обращена в кавалерию... Сани надо заказать для легкой артиллерии... в Туле заказать... с железными подрезами, надо для конницы приготовить подковы на шинах — все для преследования...»

Темнело.

Еще один день просидел Наполеон в Москве. «Надо не тревожить, надо гонца послать с каким-нибудь донесением: что, мол, атаман Платов бунтует. Пускай француз перехватит. Но поверит ли Наполеон, поймавши гонца? А вдруг засомневается?»

Вошел казак, зажег свечи, доложил:

— Тут, ваше сиятельство, туляк пришел, говорит, что коллежский секретарь, Захава по фамилии, от генерала Воронова. Сидит, говорит, что вы его все равно примете.

— Так... Захава... Павел... — сказал Кутузов. — Был такой! Зови!

Вошел человек, встал по-флотски, не вытягиваясь. Помолчал. Фельдмаршал начал сам:

— Вода в Туле-реке есть?

— Натягиваем, ваша светлость. Мельницы наверху разоряем.

— Дельно. А ты из каких, Захава?

— Из черниговских. Дворянин.

— Как стал механиком?

— Возил железо с Урала на Черное море. Учился в мастерских черноморских, адмирала Мордвинова. На Урале учился у Сабакина, здесь у Сурнина.

— Хорошие учителя. Здесь давно?

— Шесть лет.

— Вот ты человек местный, как ты думаешь: снег будет скоро?

— По зайцам судя, — сказал Захава, — как старики мастера говорят — зима будет не сурова. Но ведь, ваша светлость, нам большой зимы не надо. Нам на них градусов пять, и чтоб греться им негде было.

— Вот, вот, так. Ты там как хочешь, но чтобы были пики, были ружья казачьи, были пистолеты, и это сверх тринадцати тысяч ружей, которые ваш завод должен сделать. Мне Наполеона из России провожать надо легкими войсками, чтобы его волки по дороге не съели, и чтобы он в лесу ночевать не мог, и чтобы в деревне остановиться не мог, и отойти не мог. Надо, как на облаве, гнать не сильно: пошуметь, покашлять, а если пойдет на облаву — не пустить. Тут нужен жестокий бой.

— Англичане очень нажимают, ваша светлость. Приказы есть — завод разбирать, везти. А наши станки, — куда их повезу? — ведь они же больше дубовые. Их с места снять — одна щепа будет, а на месте работают они за сотни людей.

— Да вот, милый, а англичанин тридцать тысяч ружей в Кронштадт привез, да не выгружает, — знаем, что они без ремней, без штыков, без замков, одни стволы да приклады.

— Слыхали, — сказал Захава. — Знакомые аглицкие дела. Мне еще Сурнин рассказывал.

— Так вот что, милый, я тебе скажу, — цель моя не токмо в том, чтобы злодея со всех сторон окружать, изнурять его лошадей и людей голодом, а в том она состоит, чтобы врагу ископать могилу на нашей земле. А ты, милый, для того дела лопату готовь, за лопату с тебя взыск будет. Ружья будут?

— Будут!

— А почем их ставите?

— Восемнадцать рублей пятьдесят шесть копеек с одной шестнадцатой.

— А пики казачьи донские почем?

— По рублю тридцать четыре копейки с дробью.

— Такого оружия много нужно мне, друг, не токмо для войска, но и для почтенных крестьян, вооружившихся против супостата. Проявляют они расторопность, смелость и сметливость. Будет оружие?

— Будет.

— Поезжай, милый, время наше дорого!

Поехал Захава. Гудели в Туле станки, опускались грузы, приводя в движение автоматы; работали сразу над одним изделием несколько резцов, шумела вода под дубовыми колесами. Краснела рябина, желтела береза, падали листья на синие воды Упы, пестрела река, и пестрая вода гнала старые тяжелые дубовые колеса и ревела, сверля железо.

Двадцать третьего октября пришли известия, что неприятель вышел с большими обозами из Москвы, отступая. Приказано было Наполеоном при отступлении взорвать кремлевские башни.

Ахнули взрывы. Взлетели вверх черепичные крыши. Из арсенала взрывом вынесло архивные документы Приказа артиллерии. Собирали оставшиеся москвичи голубоватые грубые листки бумаги с пожелтевшими чернилами, ахали, смотря на разбитые стены.

Так бумаги тогда были разбросаны и частью утрачены; собранные же остальные положены в кладовую без малейшего порядка, так что нужно было пересмотреть бумаги эти по листочкам.

Подобрали бумаги, начали читать, чтобы подложить по переносам. Оказалось много бумаг про тульский завод, упоминался в них какой-то солдат Батищев. Посланы были бумаги в Тулу для курьеза — в Туле разберут.

А река Упа бежала и крутила дубовые, построенные Батищевым колеса, и старые машины сверлили стволы для новой победы, работали сурнинские станки, работала вся Тула, и русские войска с тульским оружием слева и справа гнали Наполеона, перехватывали его с юга и с севера, наносили интервентам удары новым превосходным оружием.

А в Москве уже строили, чинили стены Кремля, чистили улицы и мало кто думал про Нартова, Батищева, Сурнина — о заводе помнил только Кутузов.

⁂

ЭПИЛОГ

Герои моей книги жили долго, и старость многих из них была достойной старостью; они увидели мир, измененный временем, также и работой их самих.

Через несколько лет после отъезда Сурнина, в первом десятилетии XIX века, в Англии стали также делать станки с суппортом.

Станки с суппортом заменили в технике «...не какое-либо особенное орудие, а самую человеческую руку, которая создает определенную форму, приближая, прилагая острие режущего инструмента к материалу труда...» [1]

Не сразу входило изобретение в жизнь, но с помощью резца, закрепленного в суппорте, «...удалось производить геометрические формы отдельных частей машин с такой степенью легкости, точности и быстроты, которой никакая опытность не могла бы доставить руке искуснейшего рабочего» [2].

Машины Уатта начали делать легко и прочно. Машины эти ускорили промышленную революцию.

Заслуга изобретения станков с суппортом, заслуга Нартова, Сурнина и Захавы, была целиком приписана Генри Модзлею, построившему свои станки после отъезда Сурнина из Англии.

---

[1] К. Маркс. Капитал. Госполитиздат, 1951, т. 1, стр. 391.
[2] Там же.

Уатт узнал славу и богатство. Он жил долго и пережил своих друзей, что многими почитается счастьем.

Заботы о паре и паровой машине ушли из его мыслей. Он жил на чердаке под черепичной кровлей, занимаясь слесарным и токарным мастерством, строя машину для копирования статуй, чиня музыкальные шкатулки.

Старики иногда впадают в детство: изобретатель Уатт в старости стал вновь ремесленником.

По вечерам читал он исторические романы Вальтер-Скотта о старой Шотландии, о туманах и клетчатых пледах, и ему казалось, что мир неподвижен.

Умер Уатт в 1819 году, а через пять лет в Лондоне был открыт ему памятник.

Об этом замечательном англичанине написаны десятки книг.

Теперь попробуем объяснить, отчего мы так мало знали о русских изобретателях.

Для этого надо дать характеристику некоторых материалов по истории русской техники.

Одним из главнейших источников этой книги является «Описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении». Соч. И. Гамеля, коллежского советника, ордена св. Анны вт. степени с алм. зн. Кавалера, Доктора медицины, и разных ученых Обществ Члена, с планами и изображениями оружия и машин на 42 листах, издано по высочайшему повелению», Москва, 1826 г.

Этот труд, так же как и вторая книга, которой я пользовался, — «Материалы для истории артиллерийского управления в России. Приказ Артиллерии»... (1701—1720 гг.) Н. Е. Бранденбург. СПБ, 1876 г., — содержит в себе много фактов, но фактов, искаженных тенденцией. Особенно осторожно надо пользоваться книгой Гамеля. Ее издание приурочено было к посещению Николаем I Тулы; в предисловии рассказывается и несколько раз о том, как его величество вытиснил на поднесенных ему замочных досках: «...Тула» и год — «1826».

Книга должна была прямо изобразить, как об этом

написано на стр. XIX, что государь «...нашел тульский завод... неимоверным образом усовершенствованным по искусственной части».

Автор продолжает: «Для тех, которые содействовали улучшению сего отечественного заведения, может ли что-либо еще быть лестнее, как слышать таковой всемилостивейший отзыв из уст монарха!»

Кроме того, украшенный алмазами господин Гамель все время доказывает, что русская техника целиком создана иностранцами. Это достигается, прежде всего, путем возвеличения нового директора завода — англичанина механика Джона Джонса и приписыванием ему того, что господин Джонс не делал. Например, изобретение штампования замка приписано Джонсу, и об этом пишется в книге Гамеля (на стр. 198—207), но тут же (на стр. 200) указывается: «...оружейник Василий Антонов Пастухов, уже лет двадцать назад, сделал пресс, маховый рычаг которого имел более 120 пудов веса». К этому месту есть примечание: «Сей пресс, с таковым тяжелым маховым рычагом, и теперь еще видеть можно в Туле; оный лежит на дворе оружейника приборного цеха Маликова». На той же странице читаем: «На Сестрорецком заводе также сделан был для сего пресс, на котором посредством давления выглаживали почти совершенно уже откатанные вещи».

Таким образом, мы видим, что штамп для замка применялся тульскими оружейниками еще до Джонса, и, кроме того, применялся в Сестрорецке.

Гамель пытался доказать также, что главные успехи тульского завода относятся ко времени с 1818 до 1826 гг.; все эти успехи приписаны механику англичанину Джону Джонсу, который в это время управлял заводом. Ему же приписывается изобретение станка для обточки ружейных стволов, причем говорится, что сделано это было в 1824 году.

Но в Тульском оружейном музее находятся две модели токарных станков, датированных 1809 годом. В одной из моделей на суппорте один резец, а в другой — три.

К моделям прикреплены медные дощечки, на кото-

рых выгравировано, что модели сделаны на Сестрорецком заводе при полковнике артиллерии Лерере.

Сестрорецкий станок является предшественником тульского станка, но тульский станок в том виде, в котором он существовал в 1813 году, мы не знаем. Приложенный к книге Гамеля чертеж изображает станок уже модернизированным в 1826 году.

То, что на сестрорецком станке выгравирована фамилия полковника Лерера, еще не доказывает, что тот является истинным изобретателем станка. Мы знаем, что изобретения часто приписывались начальству. Даже Уатт охотно ставил свою фамилию на изобретениях своих служащих.

В России определенный тип пушек — единорог — привычно связан с фамилией графа Шувалова, в то время как мы из мемуаров М. В. Данилова — майора артиллерии — знаем, что единорог изобрел он.

Теперь посмотрим, что пишет сам господин Гамель о тульском станке: «Г. Берд в С. Петербурге сделал еще в 1813 году двадцать токарных станков для Тульского завода, где часть оных и ныне находится. Первоначальное устройство сих станков было таково, что ствол обрезывался по всей длине конически; но впоследствии оные переделаны были так, что только задняя (казенная) часть выходит коническая, а остальная как следует для ствола. Ствол надевается на стальной прут, или стержень..., имеющий в концах углубление, коим насаживается в станке на острые стальные центры, придвигаемые винтами. Укрепляемый в коробке резец, посредством проходящего сквозь оную винта, двигается вдоль по корыту, от одного конца ствола к другому, и обрезывает вертящийся между тем около своей оси ствол. У казенного конца спиральное колесо, с навитою на оное цепочкою, разводя помощию двойного винта половинки коробки, постепенно удаляет резец от ствола, почему и обтачивается сия часть конически.

Весьма важный недостаток сих станков есть тот, что часто стволы выходят, особливо в средней части, с одной стороны тонее, нежели с другой, так что потом при пробе таковые однобокие стволы, по причине не-

равной крепости в стене, разрываются... Тем более важно то, что Г. Джонс в 1824 году изобрел станок, который можно назвать совершенным... Стальной стержень, на который надет ствол, не укрепляется на центрах между винтами, как в прежних станках, отчего оные при сильном сжатии гнулись в середине, но, напротив того, натягивается гайкою так туго, что делается даже звонким, подобно струне, и уже погнуться никак не может».

Итак, ясно из текста, что механик Джонс только усовершенствовал способ укрепления детали на станке и что способ Джонса довольно копотный.

Тульский станок во всем главном и основном является созданием русских изобретателей, работавших в Сестрорецке, Петербурге и Туле.

Станок этот не мог быть заимствованным из Англии, так как в нем есть такие особенности, которые в западных странах появились позднее.

Гамель упоминает их, но не придает им значения, вероятно, потому, что они превышали уровень его технического понимания и в то же время уже были введены в старом «доджонсоновском» станке.

Дело в том, что суппорт тульского станка двигался автоматически. Приведу отрывок из гамелевского описания: «Резец придвигается к надетой у дула ствола калиберной трубке и в сем положении укрепляется винтом, а вся коробка, с резцом, по краям корыта **тащится от дула ствола вдоль по оному к казне, посредством хомутика, с завинтованными медными вкладышами, надетого на винт, вертящийся помощью колес у шестерни».** (Подчеркнуто мною. — *В. Ш.*)

Русские мастера шли во главе мировой техники, и память о них должна быть поднята по мере их заслуг.

В создании Тульского, Ижевского заводов и завода Берда наши герои укрепили корни нашей индустрии, начав дело русского станкостроения и внедрив новые станки в производство.

В сорокатомном архиве Воронцовых сохранились письма о Сурнине, Леонтьеве и Сабакине, затерянные среди докладов, жалоб, высокого бахвальства и умелой чванливости.

Как бы в виде благодарности за сохранение архива вспомним о Воронцове.

Граф упорно проживал в Лондоне; он оставался там, когда император Павел поссорился с Англией. За это на имущество Воронцова в России было наложено запрещение; после смерти Павла запрещение сняли.

При Александре I Воронцов опять стал послом. Когда отношения России с Англией были вновь прерваны, Воронцов оставался в Англии, отдыхая на приморской даче.

Он увидал Александра I и атамана Платова летом 1814 года. Он увидал, как англичане целовали хвост казачьей лошади и выдергивали из того хвоста волосы на память.

Вскоре он увидал газовое освещение в Лондоне.

Он жил долго, увидал железные дороги, пароходы и умер в 1832 году на лестнице своей библиотеки.

Похоронил его отец Яков Смирнов, который жил еще дольше, вселяя этим во всех изумление.

О самих изобретателях станков мне осталось договорить не много.

О Сабакине сохранилось письмо, напечатанное в «Северной почте», которая называлась также «Новая Санкт-Петербургская газета». Вот что сообщено в № 82 от 11 декабря 1813 года:

«Из Перми, от 12 августа сообщается, что

«На состоящихся в здешней Губернии Камско-Ижевских оружейных заводах скончался сего числа после долговременной болезни на 69 году от роду г. надворный советник Л. Ф. Сабакин. Сей почтенный старец, восприяв бытие свое в земледельческом состоянии, но с самых юных лет имея превеликую склонность к механическим занятиям, через редкие природные дарования свои достиг, наконец, до отличных познаний в механике...

...Г. Сабакин по знаниям своим в земледелии и домостроительстве Санкт-Петербургским вольным Экономическим Обществом принят в сочлены. В последние годы жизни своей находился он при вновь заводимом

оружейном камско-ижевском заводе, где, из особенного усердия к казенной пользе, отрекся от положенного по штату полного жалованья 2000 рублей, а согласился только быть на 500-рублевом окладе. Будучи в сем заводе, изобрел он для заводского действия многие отличные, полезные и служащие к облегчению сил человеческих машины, и наипаче так называемую шустовальную.

Признательность жителей завода к сему почтенному старцу ознаменована была наипаче при погребении его тела: благородное сословие приняло на себя труд нести гроб его до церкви, а из оной до кладбища. Словом, старец сей, отличный и дарованиями своими и любовью к ближнему, оставил о себе приятное воспоминание у всех, с кем имел дела и кто его знал».

Только о смерти Льва Фомича сохранилась память.

Но не забыли в Туле до конца о том, что ездили тульские мастера в Англию, делали там какие-то важные дела, говорили с видными людьми и спорили с ними.

В Туле помнили о временах, когда мельник и часовщик только начинали создавать новую технику, когда мир дивился на хитрые маленькие автоматы.

Народная память смешала образ Леонтьева с памятью о Сурнине и создала легенду о Левше.

Н. С. Лесков в Туле и в Сестрорецке слышал что-то о том, что туляки-мастера ездили в Англию и о чем-то с англичанами спорили. Его сын рассказывал, что отец собирал сведения о туляках, ездивших за границу, но до документов не добрался. Н. С. Лесков написал повесть «Левша» после крымского поражения, в годы народного горя, когда сказалась наша техническая отсталость.

Н. С. Лесков перенес действие повести из времен Екатерины и начала царствования Александра на конец царствования Александра и царствование Николая I. Эта повесть не полна.

На самом деле русская техника отличалась именно тем, что она решала всегда самые важные вопросы,

ставя перед собой такие задачи, от которых зависит изменение основ производства.

Русские умельцы не были инженерами, так как техническое образование в то время еще не было создано, но это были люди, создавшие новую технику и владевшие культурой своей страны.

Память о Батищеве, Нартове, Сурнине, Захаве, Сабакине должна быть священна для каждого гражданина нашей страны.

История русской техники разнообразнее, шире и звонче того, что о ней писали.

ПРИМЕЧАНИЯ[1]

ОБ АНДРЕЕ НАРТОВЕ

А. К. Нартов получил образование в Москве в «Школе математических и навигационных наук». Школа помещалась в Сухаревой башне.

В Петербурге А. К. Нартов работал с 1712 года с русским мастером Юрием Курносовым в токарной мастерской Петра I, где стояло несколько русских станков различной конструкции. Поэтому и Нартов не единственный русский мастер того времени, но один из лучших русских механиков.

В 1719 году Нартов был послан в Лондон для ознакомления с английской техникой и для приглашения английских мастеров.

Поездка в Лондон была сопряжена с попыткой построить какие-то машины по русским чертежам.

Он написал царю о том, что здесь таких мастеров, которые превзошли российских мастеров, не нашел, хотя и чертежи к машинам мастерам показал, но они сделать по ним машин не могут.

Нартов посетил также Париж, и президент Парижской академии наук писал Петру о нем в чрезвычайно лестных выражениях.

Нартов заведовал токарной мастерской Петра; для этой мастерской он по своим чертежам и по чертежам других русских мастеров сделал ряд станков, в которых резец был закреплен в суппорте.

Нартовские станки сохраняются сейчас в Ленинграде, в Эрмитаже.

В книге Беляева «Кабинет Петра» было дано их точное описание. Станки были доступны для осмотра в Кунсткамере весь XVIII век. Таким образом, изобретение Нартова было широко опубликовано и у нас и за границей.

---

[1] Составлены С. Г. Нарбут.

Книга «О мастерах старинных» уже была набрана, когда в «Литературной газете» в № 142 (3015) от 25 ноября 1952 года появилось сообщение о нахождении в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде рукописной книги Андрея Нартова под названием «Театрум механирум или ясное зрелище махин». Книга написана в 1755 году. Кроме текста, она содержит 80 чертежей и рисунков и описание 26 оригинальных конструкций металлообрабатывающих станков. В книге рассказывается о создании механического суппорта.

О ЯКОВЕ БАТИЩЕВЕ

Жизнь Якова Батищева довольно хорошо известна. Документы о нем попали в книгу К. Г. Каменева «Историческое описание охтенского порохового завода» (СПБ. 1891), в «Историю Тульского императора Петра Великого оружейного завода» полковника Зыбина (М. 1912) и в книгу И. Гамеля

В этой повести жизнь Якова Батищева описана строго по документам.

Плен Батищева во время взятия Азова тоже документален, история освобождения Батищева с галеры додумана автором на основании описаний того времени.

Участие Батищева в битве при Гангуте и в десанте на Швецию додумано, но солдаты инженерных войск в них участовали.

Знакомство Нартова с Батищевым несомненно, так как оба работали по технике артиллерии. Нартов создавал станки для обтачивания орудийных цапф, а Батищев — орудийные лафеты.

Разговор Батищева с Нартовым вымышлен; разговор Петра с Шафировым развернут из статьи, написанной Шафировым с Петром совместно.

О ЛЬВЕ САБАКИНЕ И ТУЛЬСКИХ МАСТЕРАХ

Алексей Сурнин и Яков Леонтьев отправлены были в Англию в 1785 году; вернулся Сурнин в 1792 году, в 1794 году получил звание «оружейного мастера и надзирателя всего касающегося до делания ружей».

Умер в 1811 году, имея чин титулярного советника.

Приводим переписку о нем и его товарище Леонтьеве.

ПИСЬМО ПОТЕМКИНА К ТУЛЬСКОМУ НАМЕСТНИКУ КРЕЧЕТНИКОВУ

«Милостивый государь мой Михайло Никитич!

Отправя в Англию присланных от Вашего превосходительства Тульских художников, покорнейше Вас прошу выбрать на Тульских заводах еще четырех мастеров, которые были бы искусны, один в бронзовой работе, другой в воронении, третий в шпажной и прочих слесарных и четвертый в мелочной работе.

Я буду стараться довести их до совершенства в своем деле

посредством искусного здесь художника, дабы увидеть, здешние ли лучший получат успех или отправленные в Англию»[1].

«В том же году, по предложению Генерал-Фельдмаршала Князя Потемкина, отправлены в Англию для усовершенствования в своем мастерстве два оружейника: Алексей Михайлов Сурнин и Яков Леонтьев. Первый поступил к Лондонскому мастеру Ноку (Knock), а второй к Еггу (Egg)»[2].

Воронцов пишет о Сурнине, что «...он мог зарабатывать с лишним 200 гиней в год...»

Гинея — это золотая монета, впоследствии упоминаемая только в номинальном счете, ценою в двадцать один шиллинг.

Уатт, уже имея славу, получал в 1770 году в год двести фунтов, т. е. четыре тысячи шиллингов; следовательно, он получал на десять фунтов в год меньше, чем Сурнин.

Инженер Ренни — строитель Альбионской мельницы в Лондоне — получал в 1786 году четыре гинеи в месяц, т. е. сорок восемь гиней в год. За эту плату он еще выезжал за границу и там ставил новые мельницы, а также заведовал эксплуатацией лондонского предприятия.

Мы видим, что заработная плата Сурнина более чем в четыре раза превышала плату английского выдающегося инженера. Это показывает, что Сурнин в Англии не учился, а учил: ему платили за какое-то высокое умение, за владение такими секретами, которыми сами английские мастера не владели.

О ПАВЛЕ ДМИТРИЕВИЧЕ ЗАХАВА

П. Д. Захава (1779—1839) происходил из мелкопоместных черниговских дворян.

В. Ашурков в книге «Кузница оружия» (1947) и в статье от 28 апреля 1946 года в газете «Коммунар» указывает, что Захава окончил Морской кадетский корпус. В списках лиц, окончивших Морской кадетский корпус («Очерк истории морского кадетского корпуса». СПБ. 1852), фамилии Захава нет. Вероятнее, что он окончил Николаевское мореплавательное училище и первоначально работал на заводах Черноморского флота. После этого Захава состоял в должности «комиссионера для доставления из Сибири металлов». Сибирью здесь называются уральские и приуральские заводы.

С 1806 года Захава участвует в заводской комиссии по улучшению меткости оружия, с 1810 года Захава заводской механик в Туле, а с 1812 года он руководит также «фабрикой для делания математических инструментов» (Гамель). Захаве принадлежит изобретение ряда станков. В деле изготовления штыка ему удалось механизировать одиннадцать процессов из восемнадцати.

В 1818 году Захава реконструировал гидротехническую часть завода (Гамель, стр. 73).

---

[1] Зыбин. История Тульского императора Петра Великого оружейного завода, т. 1, 1912.

[2] И. Гамель. Описание Тульского оружейного завода, стр. 64.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Архив князя С. Р. Воронцова, тт. IX, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXVII, XXX.
2. Ашурков В. Н. Тульские оружейники и их классовая борьба в XVIII — 1 четверти XIX века. Тула. 1947, Обл. книжн. изд-во.
3. Беляев О. Кабинет Петра Великого. 1793.
4. Бобынин В. Происхождение, развитие и современное состояние истории математики. М. 1886.
5. Он же. Русская физико-математическая библиография. М. 1900.
6. Бранденбург Н. Е. Приказ Артиллерии (1701—1720 гг.). СПБ. 1876.
7. Габбе В. Русская библиография по математике, механике, астрономии, физике и метеорологии. Одесса. 1886.
8. Гамель И. Описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении. 1826. (В этой книге приводятся чертежи станков Батищева и Захавы.)
9. Данилевский В. В. Очерки истории техники XVIII—XIX вв. М. 1934.
10. Он же. И. И. Ползунов. Труды и жизнь первого русского теплотехника. Изд. Академии наук СССР. М.-Л. 1940.
11. Ершов А. О значении механического искусства и о состоянии его в России. «Вестник промышленности». 1859. № 3.
12. Забаринский П. П. Неопубликованная переписка об Уатте и Болтоне (1777—1778 гг.). Архив истории науки и техники. Вып. 5. М.-Л. 1935.
13. Он же. Первые «огневые» машины в Кронштадтском порту. Труды Института истории науки и техники. Вып. 7. М.-Л. Изд. АН СССР. 1936.
14. Зыбин. История Тульского императора Петра Великого оружейного завода. т. 1. М. 1912.
15. Каменев К. Г. Историческое описание охтенского порохового завода. Период первый. СПБ. 1891.

16. Рескин Н. А. Токари Петра I. Журн. «Наука и жизнь», 1947. № 4.
17. Сабакин Лев. Лекции о разных предметах, касающихся до механики, гидравлики и гидростатики. Как то: о матерuи и ее свойствах, о центральных силах, о механических силах, о мельницах, о кранах, о тележных колесах, о машине колотить сваи, о гидравлических и гидростатических машинах вообще, сочиненные г. Фергусоном, а с Англинского на Российский язык переведенные Тверским Губернским Механиком Львом Сабакиным, с присовокуплением ко оным собственной его лекции о огненных машинах. В Санкт-Петербурге, в типографии Горного Училища, 1787 год».
18. Свиньин Павел. Ежедневные записки в Лондоне. СПБ. 1817.
19. Свиньин Павел. Жизнь русского механика Кулибина и его изобретения. СПБ. 1819.
20. «Указы государя императора Петра Великого» СПБ. 1739.
21. Ходнев А. И. Краткий обзор столетней деятельности Вольного Экономического общества с 1765 до 1865 гг. СПБ. 1865.
22. Чулков М. Историческое описание российской коммерции. М. 1786.
23. «Русский архив». 1879, кн. 1.
24. «Еженедельные известия Вольного Экономического общества». СПБ. 1788.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор И. Трусов

Художник С. Пожарский
Худож. редактор И. Царевич
Техн. редактор С. Симонов
Корректор Л. Фарисеева

А01320. Сдано в набор 18/XI 1952 г.
Подписано к печати 10/II 1953 г.
Бум. л. 2,75=печ. л. 9,02. Авт. л.
7,58. Уч.-изд. л. 7,81. Формат бумаги
84×108[1]/32. Зак. 1946. Тираж 30 000 экз.
Цена 3 р. 35 к.
по прейскуранту 1952 г.

Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
70	13 сн.	перевалами	перилами
82	9 сн.	приведлив	привередлив
119	3 св.	умеем	не умеем
138	9 сн.	Ужасная	Ужасна
158	13 св.	шинах	шипах

В. Шкловский „О мастерах старинных"